



Василий ШУКШИН



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
рассказов
В ОДНОМ ТОМЕ



Василий Макарович Шукшин

Полное собрание рассказов в одном томе

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3298065

Шукшин В. М. Полное собрание рассказов в одном томе: Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-56225-1

Аннотация

Под пером выдающегося писателя Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) оживает целая галерея образов русского характера. Герои его рассказов – странные непутевые люди, чудаки, мечтатели-мудрецы, живые и естественные, иногда стихийно бунтующие. Именно в этом протесте автор видит проявление духовного начала, но не идеализирует своих героев.

Книга представляет собой наиболее полное собрание рассказов В. М. Шукшина – настоящих шедевров русской литературы.

Содержание

Двое на телеге	4
Лида приехала	8
Светлые души	11
Письмо любимой	16
Правда	18
Стенька Разин	23
Солнце, старик и девушка	28
Экзамен	32
Степкина любовь	37
Племянник главбуха	42
Демагоги	47
Ленька	52
Артист Федор Грай	57
Воскресная тоска	61
Коленчатые валы	66
Сельские жители	74
Леся Селезнева с факультета журналистики	80
Гринька Малюгин	87
Классный водитель	95
Игнаха приехал	107
Одни	114
Критики	119
Змеиный яд	124
И разыгрались же кони в поле	131
Степка	137
Космос, нервная система и шмат сала	145
Нечаянный выстрел	152
Охота жить	157
Капроновая елочка	170
Ваня, ты как здесь?!	179
Заревой дождь	184
Операция Ефима Пьяных	188
Конец ознакомительного фрагмента.	190

Василий Макарович Шукшин

Полное собрание рассказов в одном томе

Двое на телеге

Дождь, дождь, дождь... Мелкий, назойливый, с легким шумом сеял день и ночь. Избы, дома, деревья – все намокло. Сквозь ровный шорох дождя слышалось только, как всплескивала, журчала и булькала вода. Порой проглядывало солнышко, освещало падающую сетку дождя и опять закутывалось в лохматые тучи.

...По грязной издавленной дороге двигалась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко проваливала боками, но время от времени еще трусила рысью. Двое на телеге вымокли до основания и сидели, понунив головы. Старик-возница часто вытирал рукавом фуфайки волосатое лицо и сердито ворчал:

– Погодка, черт тебя надавал... Добрый хозяин собаку из дома не выпустит...

За его спиной, укрывшись легким плащом, тряслась на охапке мокрой травы маленькая девушка с большими серыми глазами. Охватив руками колени, она безразлично смотрела на далекие скирды соломы.

Рано утром эта «сорока», как про себя назвал ее сердитый возница, шумно влетела к нему в избу и подала записку: «Семен Захарович, отвези, пожалуйста, нашего фельдшера в Березовку. Это до крайности необходимо. А машина у нас на ремонте. Квасов». Захарыч прочитал записку, вышел на крыльцо, постоял под дождиком и, войдя в избу, бросил старухе:

– Собери.

Ехать не хотелось, и, наверно, поэтому бойкая девушка не понравилась Захарычу – он сердито не замечал ее. Кроме того, злила хитрость председателя с этим его «пожалуйста». Не будь записки и не будь там этого слова, он ни за что не поехал бы в такую непогоду.

Захарыч долго возился, запрягая Гнедуху, толкал ее кулаком и, думая о записке, громко ворчал:

– Становись, пожалуйста, в оглобли, дура окаянная!

Когда выехали со двора, девушка пробовала заговорить с возницей: спрашивала, не болит ли чего-нибудь у него, много ли снега бывает тут зимой... Захарыч отвечал неохотно. Разговор явно не клеился, и девушка, отвернувшись от него, начала негромко петь, но скоро замолчала и задумалась. Захарыч, суетливо подергивая вожжи, тихо ругался про себя. Он всю жизнь кого-нибудь ругал. Теперь доставалось председателю и этой «сороке», которой приспичило именно теперь ехать в Березовку.

– Ххе-е... жизнь... Когда уж только смерть придет. Нно-о, журавь!

Они с трудом выехали на гору. Дождь припустил еще сильнее. Телега качалась, скользила, точно плыла по черной жирной реке.

– Ну и погодушка, чтоб тебя черти... – ругался Захарыч и уныло тянул: – Но-о-о, уснула-а-а...

Казалось, этому пути, дождю и ворчанию старика не будет конца. Но вдруг Захарыч беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело прокричал:

– Что, хирургия, небось замерзла?

– Да, холодно, – призналась она.

– То-то. Сейчас бы чайку горячего, как думаешь?

– А что, скоро Березовка?

– Скоро Медоухино, – лукаво ответил старик и, почему-то рассмеявшись, погнал лошадь: – Но-о, ядрена Матрена!

Телега свернула с дороги и покатила под гору, прямо по целине, тархтя и подпрыгивая. Захарыч молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. Скоро в логу, среди стройных березок, показалась одинокая старая избушка. Над избушкой струился синий дымок, растягиваясь по березняку слоистым голубым туманом. В маленьком окошке светился огонек. Все это очень походило на сказку. Откуда-то выкатились два огромных пса, кинулись под ноги лошади. Захарыч соскочил с телеги, отогнал бичом собак и повел лошадь во двор.

Девушка с любопытством осматривалась и, когда заметила в сторонке между деревьями ряды ульев, догадалась, что это пасека.

– Бежи отогревайся! – крикнул Захарыч и стал распрягать лошадь.

Прыгнув с телеги, девушка тотчас присела от резкой боли в ногах.

– Что? Отсидела?.. Пройдись маленько, они отойдут, – посоветовал Захарыч.

Он бросил Гнедухе охапку травы и первый потрусил в избушку, отряхивая на ходу мокрую шапку.

В избушке пахло медом. Перед камельком стоял на коленях белоголовый старик в черной сатиновой рубаше и подбрасывал дрова. В камельке весело гудело и потрескивало. На полу затейливо трепетали пятна света. В переднем углу мигала семилинейная лампа. В избушке было так тепло и уютно, что девушке даже подумалось: не задремала ли она, сидя в телеге, не снится ли ей все это? Хозяин поднялся навстречу неожиданным гостям – он оказался очень высоким и слегка сутулился, – отряхнул колени и, прищулив глаза, сказал глуховато:

– Доброго здоровья, люди добрые.

– Там добрые или нет – не знаю, – ответил Захарыч, пожимая руку старому знакомому, – а вот промокли мы изрядно.

Хозяин помог девушке раздеться, подбросил еще в камелек. Он двигался по избушке не торопясь, делал все спокойно и уверенно. Захарыч, устроившись у камелька, блаженно кряхтел и приговаривал:

– Ну и благодать же у тебя, Семен. Прямо рай. И чего я пасечником не сделался – ума не приложу.

– По какому же делу едете? – спросил хозяин, поглядывая на девушку.

– А вон с доктором в Березовку едем, – объяснил Захарыч. – Ну, помочил он нас... Хоть выжимай, язви его совсем...

– Доктор, значит, будете? – спросил пасечник.

– Фельдшер, – поправила девушка.

– А-а... Смотри-ка, молодая какая, а уже... Ну, согревайся, согревайся. А мы тем делом сообразим чего-нибудь.

Девушке было так хорошо, что она невольно подумала: «Все-таки правильно, что я сюда поехала. Вот где действительно... жизнь». Ей захотелось сказать старикам что-нибудь приятное.

– Дедушка, а вы весь год здесь живете? – спросила она первое, что пришло в голову.

– Весь год, дочка.

– Не скучаете?

– Хе!.. Какая нам теперь скука. Мы свое спели.

– Ты тут, наверно, всю жизнь насквозь продумал, один-то? Тебе бы сейчас учителем работать, – заметил Захарыч.

Пасечник достал из-под пола берестовый туесок с медовухой и налил всем по кружке. Захарыч даже слюну глотнул, однако кружку принял не торопясь, с достоинством. Девушка застыдилась, стала отказываться, но оба старика настойчиво уговаривали, разъясняя, что «с устатку и с холода это – первейшее дело». Она выпила полкружки.

Вскипел чайник. Сели пить чай с медом. Девушка покраснелась, в голове у нее приятно зашумело, и на душе стало легко, как в праздник. Старики вспоминали каких-то кумовьев. Пасечник раза два покосился на улыбающуюся девушку и показал на нее глазами Захарычу.

– Тебя, дочка, как звать-то? – спросил он.

– Наташей.

Захарыч отечески похлопал Наташу по плечу и сказал:

– Ведь она, слушай, ни разу не пожаловалась даже, что холодно, мол, дедушка. От другой бы слез не обобрался.

– А вон у ней, видишь, – указал пасечник на комсомольский значок и добавил: – Они молодцы!

Наташе вдруг захотелось рассказать что-нибудь особенное о себе.

– Вы вот, дедушка, ругались давеча, а ведь это я сама попросилась ехать в Березовку.

– Да ну? – изумился Захарыч. – И охота тебе?

– Нужно – значит, охота, – задорно ответила Наташа и покраснела. – Лекарство одно в нашей аптеке кончилось, а оно очень необходимо.

– Хэх ты!.. – Захарыч крутнул головой и решительно заявил: – Только сегодня мы уж никуда не поедem.

Наташа перестала улыбаться. Старики снова принялись за свой разговор. За окном было уже темно. Ветер горстями сыпал в стекло дождь, тоскливо скрипела ставня. Девушка встала из-за стола и присела у печки. Ей вспомнился врач – толстый, угрюмый человек. Провожая ее, он говорил: «Смотрите, Зиновьева... Погода-то больно того. Простудитесь еще. Может, нам кого-нибудь другого послать?» Наташа представила, как доктор, узнав, что она пережидала непогоду на пасеке, посмотрит на нее и подумает: «Я ведь и не ожидал от тебя ничего такого. Молоды вы и слабоваты. Это извинительно», – а вслух, наверное, скажет: «Ничего, ничего, Зиновьева». Вспомнилось также, как пасечник посмотрел на ее комсомольский значок... Она резко поднялась и сказала:

– Дедушка, мы все-таки поедem сегодня, – и стала одеваться.

Захарыч обернулся и вопросительно уставился на нее.

– В Березовку за лекарством поедem, – упрямо повторила она. – Вы понимаете, товарищи, мы просто... мы не имеем права сидеть и ждать!.. Там больные люди. Им нужна помощь!..

Старики изумленно смотрели на нее, а девушка, ничего не замечая, продолжала убеждать их. Пальцы ее рук сжались в тугие, острые кулачки. Она стояла перед ними маленькая, счастливая и с необыкновенной любовью и смущением призывала больших, взрослых людей понять, что главное – это не жалеть себя!..

Старики все так же с удивлением смотрели на нее и, кажется, ждали еще чего-то. Счастливый блеск в глазах девушки постепенно сменился выражением горькой обиды: они совсем не поняли ее! И старики показались ей вдруг не такими уж умными и хорошими. Наташа выбежала из избушки, прислонилась к косяку и заплакала... Было уже темно. По крыше уныло шуршал дождь. На крыльцо с карниза дробно шлепались капли. Перед окном избушки лежал желтый квадрат света. Жирная грязь блестела в этом квадрате, как масло. В углу двора, невидимая, фыркала и хрустела травой лошадь...

Наташа не заметила, как на улицу вышел хозяин.

– Где ты, дочка? – негромко позвал он.

– Здесь.

– Ну-ка, пошли в избу, – пасечник взял ее за руку и повел за собой. Наташа покорно шла, вытирая на ходу слезы. Когда они появились в избушке, Захарыч суетливо копошился в темном углу, отыскивая что-то.

– Эка ты! Шапку куда-то забросил, язви ее, – ворчал он.

А пасечник, подкладывая в печку, тоже несколько смущенный, говорил:

– На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз... А это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец.

Наконец Захарыч нашел шапку. На Наташу вместо пальто надели большой полушубок и брезентовый плащ. Она стояла посреди избы неуклюжая и смешная, поглядывая из-под башлыка мокрыми веселыми глазами и шмыгая носом. А вокруг нее хлопотали виноватые старики, соображая, что бы еще надеть на нее...

Через некоторое время телега снова мягко катилась по дороге, и на ней снова тряслись два человека.

По-прежнему ровно шумел дождь; обочь дороги, в канавках, тихонько булькало и хлопало.

Лида приехала

В купе, в котором ехала Лида, было очень весело.

Каждый день «резались в подкидного».

Шлепали картами по чемодану и громко кричали:

– Ходите! Вам же ходить!.. Тэк... секундочку... опп! Ха-ха!..

Лида играла плохо. Все смеялись над ее промахами. Она сама смеялась – ей нравилось, что она такая неумелая и хорошенькая, «очаровашка».

Этот ее смех так надоел всем в вагоне, что никого уже не раздражал.

Привыкли.

Он напоминал звук рассыпаемой на цементный пол мелочи.

Удивительно, как она не уставала.

А вечерами, когда из купе расходились, Лида стояла в коридоре у окна.

Кто-нибудь подходил.

Беседовали.

– Ой, как хочется скорей уже в Москву, вы себе не представляете! – говорила Лида, закинув за голову полные белые руки. – Милая Москва.

– Гостить куда-нибудь ездили?

– Нет, я с Новых земель.

– В отпуск?

– Совсем, что вы!..

И она, облизывая красивые ярко-красные губы, рассказывала, что это такое – Новые земли.

– Нас привезли в такую глушь, вы себе не представляете. Вот – поселок, да? А вокруг – поля, поля... Кино – раз в неделю. Представляете?

– А вы работали там?

– Да! Знаете, заставили возить на быках этот... – Лида сконфуженно морщилась, – ну, поля удобряют...

– Навоз?

– Да. А быки такие вредины! Им говоришь: «но!», а они стоят, как идиоты. Ребята у нас называли их Му-2. Ха-ха-ха... Я так нервничала (она произносит нервничала) первое время (первое время), вы себе не представляете. Написала папе, а он отвечает: «Что, дуреха, узнала теперь, почем фунт лиха?» Он у нас шутник ужасный. У вас есть сигаретка?

...Встречали Лиду отец, мать и две тетки. Лида бросилась всех обнимать... Даже всплакнула.

Все понимающе улыбались и наперебой спрашивали:

– Ну как?

Лида вытирала пухлой ладошкой счастливые слезы и несколько раз начинала рассказывать:

– Ой, вы себе не представляете!..

Но ее не слушали – улыбались, говорили сами и снова спрашивали:

– Ну как?

Поехали домой, за город.

...Увидев свой дом, Лида бросила чемодан и, раскинув белые рученьки, побежала вперед.

Сзади понимающе заговорили:

– Вот оно как – на чужой-то сторонushке.

– Да-а, это тебе... гляди-ка: бежит, бежит!

– И ведь ничего не могли поделывать: заладила свое: поеду, и все. «Другие едут, и я поеду», – рассказывала мать Лиды, сморкаясь в платок. – Ну вот, съездила... узнала.

– Молодежь, молодежь, – скрипела тетя с красным лицом.

Потом Лида ходила по комнатам большого дома и громко спрашивала:

– Ой, а это когда купили?

Мать или отец отвечали:

– Этой зимой еще, перед Новым годом. Полторы тыщи стало.

Пришел молодой человек с книжками и с множеством значков на груди – новый квартирант, студент.

Их знакомил сам отец.

– Наша новаторша, – сказал он, глядя на дочь с тонкой снисходительной усмешкой.

Лида ласково и значительно посмотрела на квартиранта. Тот почему-то смутился, кашлянул в ладонь.

– Вы в каком? – спросила Лида.

– В педагогическом.

– На каком факе?

– На физико-математическом.

– Будущий физик, – пояснил отец и ласково потрепал молодого человека по плечу. – Ну вам небось поговорить хочется... Я пошагал в магазин. – Он ушел.

Лида опять значительно посмотрела на квартиранта. И улыбнулась.

– У вас есть сигаретка?

Квартирант вконец смутился и сказал, что он не курит. И сел с книжками к столу.

Потом сидели родственным кружком, выпивали.

Студент тоже сидел вместе со всеми; он попробовал было отказаться, но на него обиделись самым серьезным образом, и он сел.

Отец Лиды – чернявый человек с большой бородавкой на подбородке и с круглой розовой плешиной на голове, с красными влажными губами, – прищурившись, смотрел на дочь.

Потом склонялся к квартиранту, жарко дышал ему в ухо, шептал:

– Ну, скажите, если уж честно: таких ли хрупких созданий посылать на эти... на земли? А? Кого они агитируют! Тоже, по-моему, неправильно делают. Ты попробуй меня сагитируй!..

Глаза его маслено блестели.

Он осторожно икал и вытирал губы салфеткой.

– А таких зачем? Это ж... эк... это ж – сосуд, который... эк... надо хранить. А?

Молодой человек краснел и упорно смотрел в свою тарелку.

А Лида болтала ногами под столом, весело смотрела на квартиранта и, капризная, кричала:

– Ой, ну почему вы мед не кушаете? Мам, ну почему он мед не кушает!

Студент кушал мед.

Все за столом разговаривали очень громко, перебивали друг друга.

Говорили о кровельном железе, о сараях, о том, что какого-то Николая Савельича скоро «сломают» и Николай Савельич получит «восемнадцать метров».

Толстая тетя с красным носом все учила Лиду:

– А теперь, Лидуся... слышишь? Теперь ты должна... как девушка!.. – Тетя стучала пальцем по столу. – Теперь ты должна...

Лида плохо слушала, вертелась, тоже очень громко спрашивала:

– Мам, у нас сохранилось то варенье, из крыжовника? Положи ему. – И весело смотрела на квартиранта.

Отец Лиды склонялся к студенту и шептал:

– Заботится... а? – И тихо смеялся.

– Да, – говорил студент и смотрел на дверь. Непонятно было, к чему он говорит это «да».

Под конец отец Лиды залез ему в самое ухо:

– Ты думаешь, он мне легко достался, этот домик... эк... взять хотя бы?.. Сто двенадцать тыщ – как один рупь... эк... на! А откуда они у меня? Я ж не лауреат какой-нибудь. Я ж получаю всего девятьсот восемьдесят на руки. Ну?.. А потому что вот эту штуку на плечах имею. – Он похлопал себя по лбу. – А вы с какими-то землями!.. Кто туда едет? Кого приперло. Кто свою жизнь не умеет наладить, да еще вот такие глупышки вроде дочки моей... Ох, Лидка! Лидка! – Отец Лиды слез со студента и вытер губы салфеткой. Потом снова повернулся к студенту: – А сейчас поняла – не нарадуется, сидит в родительском доме. Обманывают вас, молодых...

Студент отодвинул от себя хрустальную вазочку с вареньем, повернулся к хозяину и сказал довольно громко:

– До чего же вы бессовестный! Просто удивительно. Противно смотреть.

Отец Лиды опешил... открыл рот и перестал икать.

– Ты... вы это на полном серьезе?

– Уйду я от вас. Ну и хамье... Как только не стыдно! – Студент встал и пошел в свою комнату.

– Сопляк! – громко сказал ему вслед отец Лиды.

Все молчали.

Лида испуганно и удивленно моргала красивыми голубыми глазами.

– Сопляк!! – еще раз сказал отец и встал и бросил салфетку на стол, в вазочку с вареньем. – Он меня учить будет!

Студент появился в дверях с чемоданом в руках, в плаще... Положил на стол деньги.

– Вот – за полмесяца. Маяковского на вас нет! – И ушел.

– Сопляк!!! – послал ему вслед отец Лиды и сел.

– Папка, ну что ты делаешь?! – чуть не со слезами воскликнула Лида.

– Что «папка»? Папка... Каждая гнида будет учить в своем доме! Ты молчи сиди, прижми хвост. Прокатилась? Нагулялась? Ну и сиди помалкивай. Я все эти ваши штучки знаю! – Отец застучал пальцем по столу, обращаясь к жене и к дочери. – Принесите, принесите у меня в подоле... Выгоню обоих! Не побоюсь позора!

Лида встала и пошла в другую комнату.

Стало тихо.

Толстая тетя с красным лицом поднялась из-за стола и, охая, пошла к порогу.

– Итить надо домой... засиделась у вас. Ох, господи, господи, прости нас, грешных.

...В Лидиной комнате тихо забулькал радиоприемник – Лида искала музыку.

Ей было грустно.

Светлые души

Михайло Беспалов полторы недели не был дома: возили зерно из далеких глубинок.

Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора.

Въехал, заглушил мотор, открыл капот и залез под него.

Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила:

– Ты б хоть поздороваться зашел.

– Здорово, Нюся! – приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят.

Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью.

Михайло пришел через полчаса.

Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.

– Ты чего? – спросил Михайло.

– Ничего.

– Вроде сердиться?

– Ну что ты! Разве можно на трудящий народ сердиться? – с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна.

Михайло неловко потоптался на месте. Сел на скамейку у печки, стал разуваться.

Анна глянула на него и всплеснула руками:

– Мамочка родимая! Грязный-то!..

– Пыль, – объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги.

Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошками небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся, солоновато-жестким, пропахшим табаком и бензином губам.

– Прямо места живого не найдешь, господи ты мой! – жарко шептала она, близко разглядывая его лицо.

Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел:

– Замараю ж я тебя всю, дуреха такая!..

– Ну и марай... марай, не думай! Побольше бы так марал!

– Соскучилась небось?

– Соскучишься! Уедет на целый месяц...

– Где же на месяц? Эх ты... акварель!

– Пусти, пойду баню посмотрю. Готовься. Белье вон на ящике. – Она ушла.

Михайло, ступая догоряча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени, долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки: что-то искал. Потом вышел на крыльцо, крикнул жене:

– Ань! Ты, случайно, не видела карбюратор?

– Какой карбюратор?

– Ну такой... с трубочками!

– Не видела я никаких карбюраторов! Началось там опять...

Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать... Карбюратора нигде не было.

Пришла Анна.

– Собрался?

– Тут, понимаешь... штука одна потерялась, – сокрушенно заговорил Михайло. – Куда она, оканная?

– Господи! – Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. – Ни стыда ни совести у человека! Побудь ты хозяином в доме! Приедет раз в год и то никак не может расстаться со своими штуками...

Михайло поспешно подошел к жене.

– Чего сделать, Нюся?

– Сядь со мной. – Анна смахнула слезы.

Сели.

– У Василисы Калугиной есть полупальто плюшевое... хоро-ошенькое! Видел, наверно, она в нем по воскресеньям на базар ездит!

Михайло на всякий случай сказал:

– Ага! Такое, знаешь... – Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит: вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене.

– Вот. Она это полупальто продает. Просит четыре сотни.

– Так... – Михайло не знал, много это или мало.

– Так вот я думаю: купить бы его? А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миша. Я давеча примерила – как влитое сидит!

Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь.

– Взять это полупальто. Чего тут думать?

– погоди ты! Разлысил лоб... Денег-то нету. А я вот что придумала: давай продадим одну овечку! А себе ягненка возьмем...

– Правильно! – воскликнул Михайло.

– Что правильно?

– Продать овечку.

– Тебе хоть все продать! – Анна даже поморщилась.

Михайло растерянно заморгал добрыми глазами.

– Сама же говорит, елки зеленые!

– Так я говорю, а ты пожалей. А то я – продать, и ты – продать. Ну и распродадим так все на свете!

Михайло открыто залюбовался женой.

– Какая ты у меня... головастая!

Анна покраснела от похвалы.

– Разглядел только...

Из бани возвращались поздно. Уже стемнело.

Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины.

– Миша!

– Аиньки! Я сейчас, Нюся, воду из радиатора спущу.

– Замараешь белье-то!

Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом.

– Миша!

– Одну минуту, Нюся.

– Я говорю, замараешь белье-то!

– Я же не прижимаюсь к ней.

Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце.

Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.

– Ну, сделал?

– Надо бы карбюратор посмотреть. Стрелять что-то начала.

– Ты ее не целуешь, случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней, черт ее надавал, проклятую! – рассердилась Анна.

– Ну вот... При чем она здесь?

– При том. Жизни никакой нету.

В избе было чисто, тепло. На шестке весело гудел самовар.

Михайло прилег на кровать; Анна собирала на стол ужин.

Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туески, кринки и рассказывала последние новости:

– ...Он уж было закрывать собрался магазин свой. А тот – то ли поджидал специально

– тут и был! «Здрасти, – говорит, – я ревизор...»

– Хэх! Ну? – Михайло слушал.

– Ну, тот туда-сюда – загозил. Тыр-пыр – семь дыр, а выскочить некуда. Да. Хворым прикинулся...

– А ревизор что?

– А ревизор свое гнет: «Давайте делать ревизию». Опытный попался.

– Тэк. Влопался, голубчик?

– Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.

– Сколько дали?

– Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зюечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть! А сейчас ноет ходит: «Может, ошибка еще». Ошибка! Ганя ошибется!

Михайло задумался о чем-то.

За окнами стало светло: взошла луна. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.

– Садись, Миша.

Михайло задал в пальцах окурков, скрипнул кроватью.

– У нас одеяло какое-нибудь старое есть? – спросил он.

– Зачем?

– А в кузов постелить. Зерна много сыплется.

– Что они, не могут вам брезенты выдать?

– Их пока жареный петух не клюнет – не хватятся. Все обещают.

– Завтра найдем чего-нибудь.

Ужинали не торопясь, долго.

Анна слезила в подпол, нацедила ковшик медовухи – для пробы.

– Ну-ка, оцени.

Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул:

– Ох... хороша-а!

– К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья... сытые – загляденье! А на тебя смотреть страшно.

– Ничего-о, – гудел Михайло. – Как у вас тут?

– Рожь сортируем. Пылица!.. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько, Миша! Прямо страсть берет. Куда уж его столько?

– Нужно. Весь СССР прокормить – это... одна шестая часть.

– Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.

Михайло покраснелся, глаза заискрились веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное. Но, видно, не находил нужного слова.

Спать легли совсем поздно.

В окна лился негреющий серебристый свет. На полу, в светлом квадрате, шевелилось темное кружево теней.

Гармонь ушла на покой. Теперь только далеко в степи ровно, на одной ноте, гудел одинокий трактор.

– Ночь-то! – восторженно прошептал Михайло.

Анна, уже полусонная, пошевелилась.

– А?

– Ночь, говорю...

– Хорошая.

– Сказка просто!

– Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает, – невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. – До того красиво...

– Соловей?

– Какие же сейчас соловьи!

– Да, верно...

Замолчали.

Анна, крутившая весь день тяжелую веялку, скоро уснула.

Михайло лежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы.

Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.

Анна негромко окликнула его.

Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побегал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.

Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала ему:

– На одну ночь приедет и то норовит убежать! Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня!

Михайло ласково похлопал жену по плечу – успокаивал.

Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом:

– Там что, оказывается: ма-аленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер... там иголка не пролезет.

– Ну, теперь-то все хоть?

– Конечно.

– Бензином опять несет! Ох... господи!..

Михайло хохотнул, но тут же замолчал.

Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно.

Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.

– Ты опять? – спросила Анна.

– Я попить хочу.

– В сенцах в кувшине – квас. Потом закрой его.

Михайло долго возился среди тазов, кадочек, нашел наконец кувшин, опустил на колени и, приложившись, долго пил холодный, с кислинкой квас.

– Хо-ох! Елки зеленые! Тебе надо?

– Нет, не хочу.

Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней...

Стояла удивительная ночь – огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вдыхая всей грудью вольный, настоящий на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко:

– Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!..

Письмо любимой

В пятнадцать лет я писал свое первое любовное письмо. Невероятное письмо. Голова у меня шла кругом, в жар кидало, когда писал, но – писал.

Как я влюбился.

Она была приезжая – это поразило мое воображение. Все сразу полюбились мне в этой девочке: глаза, косы, походка... Нравилось, что она тихая, что учится в школе (я там уже не учился), что она – комсомолка. А когда у них там, в школе, один парень пытался из-за нее отравиться (потом говорили, только попугал), я совсем голову потерял.

Не помню теперь, как случилось, что я пошел провожать ее из клуба.

Помню, была весна... Я даже и не выламывался, молчал. Сердце в груди ворочалось, как картофелина в кипятке. Не верилось, что я иду с Марией (так ее все называли – Мария, и это тоже мне ужасно нравилось!), изумлялся своей смелости, страшился, что она передумает и скажет: «Не надо меня провожать», – и уйдет одна. И мучился – господи, как мучился! – что молчу. Молчу, как проклятый. Ни одного слова не могу из себя выдавить. А ведь умел и приврать при случае, и...

На прощанье только прижал Марию крепче к груди и скорей-скорей домой, как на крыльях полетел. «Ну, гадство! – думал. – Теперь вы меня не возьмете!» Сильный был в ту ночь, добрый, всех любил... И себя тоже. Когда кого-нибудь любишь, то и себя заодно любишь.

Потом я дня три не видел Марию, она не ходила в клуб. «Ничего, – думал, – я за это время пока осмелею». Успел подраться с одним дураковатым парнем.

– Провожал Марию? – спросил он.

– Ну.

– Гну! Хватит. Теперь я буду.

Колун парень, ухмылка такая противная... Но здоровый. Я умел «брать на калган» – головой бить. Пока он махал своими граблями, я его пару раз «взял на калган», он отстал.

А Марии – нет. (Потом узнали, что отец не стал пускать ее на улицу.) А я думал, что ни капли ей не понравился и она не хочет видеть меня, молчуна. Или – тоже возможно – опасается: выйдет, а я ей всыплю за то, что не хочет со мной дружить. Так делали у нас: не хочет девка дружить с парнем и бежит от него задами и переулками, пока не сыщется заступник.

И вот тогда-то и сел я за письмо.

«Слушай, Мария, – писал я, – ты что, с этим Иваном П. начала дружить? Ты с ума сошла! Ты же не знаешь этого парня – он надсмеемся над тобой и бросит. Его надо опасаться, как огня, потому что он уже испорченный. А ты девочка нежная. А у него отец родной – враг народа, и он сам на ножках ходит. Так что смотри. Мой тебе совет: заведи себе хорошего мальчика, скромного, будете вместе ходить в школу и одновременно дружить. А этого дурака ты даже из головы выкинь – он опасный. Почему он бросил школу? Думаешь, правда, по бедности? А ху-ху не хо-хо? Он побывал в городе, снюхался там с урками, и теперь ему одна дорожка – в тюрьму. Так что смотри. С какими ты глазами пойдешь потом в школу, когда ему выездная сессия сунет в клубе лет пять? Ты же со стыда сгоришь. Что скажут тебе твои родные мать с отцом, когда его повезут в тюрьму? А его повезут, вот увидишь. У него все мысли направлены – где бы только своровать или кого-нибудь пырнуть ножом. Ну, тебя он, конечно, не пырнет, но научит плохому. Какая про тебя славушка пойдет! А ты еще молодая, тебе жить да жить. А его песенка спета. Опасайся его. Никогда с ним не дружи и обходи стороной. Он знается с такими людьми, которые могут и квартиру вашу обчистить, тем более что вы – богатыньки. Вот он на вас-то и

наведет их. А случись – ночное дело – прирезать могут. А он будет смотреть и улыбаться. Ты никогда не узнаешь, кто это тебе писал, но писал знающий человек. И он желает тебе только добра».

Вот так.

Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добрыми глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего, посоветовала не пить много вина – тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно – жалко стало Марию, и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответил.

А письмо это я тогда не послал.

Правда

На межрайонном совещании председателей колхозов и директоров совхозов Николай Алексеевич Аксенов, председатель колхоза «Пламя коммунизма», – Аксеныч, как его попросту называли, – выдал такую огневую речь, что сам потом удивился.

Он то гремел с трибуны, подвергая беспощадной критике недостатки в своем колхозе, то, указывая прокуренным пальцем на аудиторию, тихо и строго предупреждал: «Но учтите, дорогие товарищи, мы все это исправим. Исправим». Под конец, правда, он дал маху: забыл в пылу выступления, что кукурузу называют «королевой полей», и назвал ее «русской красавицей». В зале засмеялись и долго хлопали Аксенову.

Сейчас, копаясь в моторе своего «козла», Аксеныч с удовольствием думал: «Могу, язви ты в легкое!»

Сзади кто-то негромко спросил:

– Вы к себе сейчас едете?

Аксенов обернулся: спрашивал невысокий, бритый наголо, с серым лицом, больше-ротый. Смотрел спокойно, чуть насмешливо. Аксенов узнал: новый директор Березовского совхоза, сосед Аксенова.

– Подбросить, что ли?

– Да.

– Сейчас... – Аксенов опять уткнулся в мотор. – Свечи закидало... – Он вывернул запальную свечу, подчистил ножом контакты-усики, поскоблил, протер, продул и ввернул опять.

Большеротый все стоял и смотрел ему в спину.

«Как же его фамилия?» – пытался вспомнить Аксеныч. Он еще не был знаком с новым директором, но слышал о нем как о человеке странном. В чем заключалась эта странность, он сейчас не мог вспомнить, так же как и фамилию директора.

Во время совещания прошел хороший дождь, дороги размыло.

Пока выбирались на гравийную дорогу, молчали. Задок «козла» заносило из стороны в сторону. Аксеныч ожесточенно крутил баранку и ворчал:

– Черт-те надавал!.. В районном центре не могут дорогу сделать как следует. Ты гляди!..

Большеротый сидел с ним рядом, курил, безучастно смотрел вперед.

Когда наконец выбрались на гравий и машина пошла ровно, Аксеныч откинулся на спинку сиденья, достал одной рукой папиросы, закурил.

– Слышал, как я выступал? – спросил он, опять с удовольствием вспомнив свое выступление.

– Слышал, – откликнулся большеротый.

Аксеныч подождал, не скажет ли он чего еще, и, не дождавшись, спросил:

– Как, по-твоему?

– Что?

– Выступил-то.

– По-моему, плохо. – Большеротый повернул голову к Аксенычу и посмотрел ему прямо в глаза, просто и спокойно.

Аксеныч на секунду-две забыл про штурвал: засмотрелся на чистые, незлые, насмешливые глаза нового соседа. Взгляд этих глаз был тверд.

Директор первый отвернулся, показал глазами на дорогу. Аксеныч круто вывернул руль, сбавил скорость.

«Завидует, лысан! Сам не умеет выступать и завидует другим», – подумал Аксеныч, но не успокоился от этой мысли.

– Почему плохо?

– А вы думаете, хорошо?

– Я ничего не думаю, – обозлился Аксенов, – я просто спрашиваю, почему плохо, и все.

– Плохо потому, что ничего конкретного. Одни возгласы да обещания. Недостатки, положим, были названы, но... и то, я вам скажу, схитрили вы здесь.

– Как это?

– Назвали такие недостатки, за которые головы не снимают. – Большеротый повернулся к Аксенову и улыбнулся. – Так ведь?

Аксенов презрительно прищурил глаза.

– Чего так? – Он чувствовал себя глупо.

– Клуб не достроили – это полбеды. За это можно бить себя в грудь.

– А еще что? Что я утаил, например?

– А мор свиней в прошлом месяце?.. Это же не стихийное бедствие, это безалаберность. Халатность. – Директор выговорил эти два слова твердым, спокойным голосом – он их не выбирал и ни на мгновение не задумался: говорить ли этими или подыскать другие? – У вас есть акт ветврача об этом. Скрыли.

У Аксенова от злости засосало под ложечкой. Особенно возмутил его этот спокойный, уверенный тон директора. Он некоторое время молчал.

– Что же ты не сказал об этом?

Директор ответил тоже не сразу.

– Скажу. Вот осмотрюсь немного – начну говорить.

– Достанется нам тогда на орехи! – воскликнул Аксеныч. Он хотел еще добавить: «Таким большим ртом можно мно-ого наговорить всякой всячины». Но удержался. С этой минуты он горячо невзлюбил директора и даже забыл подумать, откуда новичку известны такие факты, как припрятанный до поры до времени акт о падеже свиней в колхозе «Пламя коммунизма», в котором есть и эти слова: «безалаберность» и «халатное отношение». – Несдобровать нам тогда! А? – Аксеныч окинул насмешливым взглядом соседа. Он тоже решил казаться насмешливым.

– Не знаю, как насчет сдобровать, но акты из столов... – тут директор несколько замялся, – акты придется вытащить. Они не для того пишутся, чтобы лежать в столах. Правильно? – Директор засмеялся и хлопнул Аксенова по плечу: он отчего-то развеселился.

Аксенов резко шевельнул плечом, скидывая руку директора.

– Не лапай, я не баба.

– О!

«Запугать хочет. Как с ребенком разговаривает, стервец. Стреляный воробей, вообще-то говоря, – думал Аксенов. – В секретари метит. Как бы тебя ущемить, черта лысого? Высажу сейчас посреди дороги. Скажу, что в другую сторону надо». Но вместо этого неожиданно для себя Аксеныч покосился на директора и усмехнулся.

– Поглядим, сосед, как ты развернешься. Ой, поглядим!

– Развернемся! – Директор улыбнулся бескровными губами. И так хорошо он улыбнулся, что Аксенов почему-то вдруг поверил: этот развернется. Что-то такое было у него припрятано про запас – и чувствуешь, но не понимаешь, что именно. Развернется и будет все такой же насмешливый и спокойный.

– Посмотрим, посмотрим! – еще раз сказал Аксенов, и таким тоном, точно обещал новичку верную каторгу через год-другой.

Но удивительное дело: сам он не поверил в то, в чем хотел убедить нового директора, и почувствовал фальшь в своем самонадеянном, ни на чем не основанном тоне, когда произнес это «посмотрим». «Черт его знает... пугаю к чему-то человека».

Горечь от сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза, прошла у Аксенова; эта горечь сменилась теперь острым желанием и самому заглянуть в глаза новому человеку, послушать его, понять, откуда у него такая уверенность в себе и в своих будущих делах на новом месте. Аксенов вовсе не струсил и не заискивал перед новым соседом – он сам был достаточно силен и крут, чтобы не заискивать, – просто захотел узнать этого человека поближе.

– Откуда сам?

– Из Калуги.

– Инженер?

– Точно.

– К нам... по охоте аль неволей?

– По охоте, почему же неволей! – Новичок повернулся к Аксенову, и на его сером квадратном лице изобразилось удивление.

«Значит, инженер так себе. Хорошего не отпустят с завода, – не без ехидства подумал Аксеныч. – Воображаешь ты много, друг милый».

– А все-таки зря ты легко смотришь на свое, так сказать, ближайшее будущее, – не удержался и еще раз сказал Аксенов. – Наше дело сложное, посложней заводского.

– Ничего, – сказал новичок, и Аксенова опять взяла досада: в конце концов не мешало бы новичку прислушаться к словам опытных людей. Едет, как к теще на блины.

Подъехали тем временем к чайной на окраине большого села. Остановились.

– Закусим?

– С удовольствием! – оживился новый директор. – Есть хочется.

Сидели друг против друга за маленьким квадратным столиком, ждали официантку.

Директор, склонив большую полированную голову, изучал синие кружочки на клеенке. Аксенов смотрел на него. И в нем родилась вдруг озорная мысль.

– По сто пятьдесят, что ли, закажем?

Директор поднял голову.

– Не пью.

«Брось ты... Поставить себя хочешь».

– В чайной или вообще?

Директор усмехнулся.

– Вообще. А вот курить не могу бросить. – Директор полез за папиросами. – Три раза бросал – не вышло.

– Ты, наверно, думаешь, – начал Аксенов, пошевелившись на стуле, – вот, мол, припугнул председателя актом, он теперь виляет передо мной, выпить предлагает. Так?

– Нет, не так. Акт – это само собой. Между нами, я бы все-таки не полез на твоём месте на трибуну с такой речью. Совесть же надо иметь, елки с палкой! Я, грешным делом, смекнул там, на совещании: может, думаю, у него пересмотрели это дело с падежом, комиссия какая-нибудь была. А в машине понял, что никакой комиссии не было – акт лежит у тебя под сукном.

– Тебе бы следователем работать, – съязвил Аксенов, чувствуя, как к сердцу снизу подмыла едкая волна – стыд. Стыд и злость опять овладели им. – Так вот, слушай: акт этот я опротестовал и на самом деле жду комиссию. Чтоб ты знал. – Аксенов сказал это, в упор глядя на директора, не скрывая злости.

Этот человек бесил его и вместе с тем привлекал. Аксенов знал, что не смог бы сейчас встать и уйти, оставив за спиной эти спокойные, правдивые глаза. Хотелось уж теперь

досидеться до той поры, когда самому возможно будет прямо взглянуть в них, в эти глаза, и чувствовать себя при этом спокойным и уверенным. Но как это сделать, он не знал. Насчет комиссии он соврал, то есть не то чтоб соврал – он действительно был не согласен с актом ветврача и действительно хотел пригласить комиссию, но он еще не пригласил и акта официально не опротестовывал. В сущности, Аксенов, конечно, соврал и испытывал сейчас такое чувство, точно его, взрослого человека, застали за мелким воровством, будто кто-то неслышно подошел сзади и спросил: «Ты что здесь делаешь?»

«Сегодня же, сейчас же, как только приеду, вызову комиссию, черт ее задери!» – поклялся себе Аксенов.

Услышав, что Аксенов опротестовал акт и вызвал комиссию, директор внимательно посмотрел на него и сказал коротко, деловито:

– Это другое дело.

У Аксенова слабо зарозовели скулы. Ах, до чего, черт возьми, – до зуда в груди – захотелось быть с этим человеком на равных, захотелось вдруг сказать ему какие-нибудь обыкновенные слова, вроде: «Это не так, директор» или: «Это другое дело!»

«Нет, к чертям собачьим!.. Надо кончать со всякими такими актами». Аксенов на минуту представил себе, каким спокойным, прямо счастливым он чувствовал бы себя сейчас, если б за душой не было этого темного дела с актом, если б был он чист. Он бы сейчас толково и обстоятельно рассказал новичку, как трудно управлять большим, сложным хозяйством, чего не надо делать поначалу и что надо сделать сразу, немедленно... Он улыбнулся.

– Знаешь, о чем тебя попрошу: как только первый раз где-нибудь словчишь, скажи мне. Только по-честному. Мне охота узнать: проживешь ты без этого или нет?

Директор выслушал, тоже улыбнулся.

– Договорились. Ты думаешь, без этого нельзя?

У Аксенова стало легче на душе.

– Как тебе сказать... Можно, конечно. – Аксеныч опять улыбнулся. – Вообще-то так и надо... Эх!.. Забыл, как твоя фамилия?

– Воловик, Николай.

– Тезки с тобой. Я тебе так скажу, Микола: можно. Мы тут ведь уж подолгу работаем, вросли, так сказать, корнями в дела эти колхозные да совхозные, переплелись друг с другом... Ну и случится иной раз: сказал бы про него, подлеца, правду, да у самого рыло, как говорится, в пуху – смолчишь. Но ты не думай, пожалуйста, что мы тут только и делаем, что скрываем грехи друг от друга.

– Господи!.. Кто же так думает! Дела у вас хорошие, большие. – Воловик говорил серьезно, искренне. – Потому и захотелось попробовать тут свои силенки. Я о том, что обидно, елки с палкой, когда в таких делах случаются...

– Случаются, – перебил Аксеныч и нахмурился, глядя в стол. – Случаются, Микола.

– Вообще совещание мне понравилось. Некоторые очень толково говорили, конкретно. Аксенов опять покраснел: вспомнил свое выступление.

– У нас есть люди... Первый секретарь – дельный мужик: знает хозяйство. Со вторым нам не повезло малость: суетливый какой-то, шумит много...

Подошла официантка. Заказали два борща, две порции котлет, по кружке пива.

– Борщец тут у нас знатный делают, – похвастал Аксеныч. – В Калуге такого... Хотя ты ж с Украины, наверно?

– Нет, калужанин коренной. Отец украинец был, а жил тоже в Калуге.

– Ты с семьей здесь или один пока?

– Один пока.

– Как устроился-то? Слушай, приезжай сегодня ко мне! Этак к вечерку. Баньку протопим, с неводишком на речку сбегает... Небось стосковался без своих-то? Я тебе попо-

дробнее расскажу про все наши дела, введу, так сказать, в курс дела... Ты согласишься, нет, я чего-то до смерти рад, что познакомился с тобой. Не подумай, что я насчет этого дурацкого акта боюсь. Я всегда оправдаюсь. Чего-то ты мне поглянулся, честное слово... – Давно уж Аксеныч не говорил таких простых, хороших слов, давно уж не испытывал такого горячего, участливого уважения к человеку.

Воловик подумал немного и согласился.

– Только... я, понимаешь, не один приеду, если согласишься. Ко мне дружок заехал... офицер с Дальнего Востока. Демобилизовался. Тоже дела человек ищет. Я думаю, мы ему вдвоем как-нибудь поможем присмотреться. Мне хочется, чтобы он здесь остался... Толковый парень!

На сердце у Аксенова расцвела хорошая, благодарная радость.

– Конечно!.. Господи, да мы его тут враз с делом окрутим. Покажу вам свое хозяйство. У меня хозяйство хорошее, Микола. Ферма!.. Ты знаешь, какая у меня ферма! Вся начисто механизирована! – Аксеныч широко повел правой рукой; в глазах его засветился счастливый огонек. – Ребята-дояры – вот такие! Комсомольцы. Ты правильно сделал, Микола, что приехал сюда. Поможем! Трудно будет первое время – это точно. Поможем. Я не зря говорю...

Директор слушал, кивал большой гладкой головой – соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво.

Стенька Разин

Его звали – Васёка. Васёка имел двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос... и невозможный характер. Он был очень странный парень – Васёка.

Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет.

– Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь? – интересовались в конторе.

Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

– Потому что я талантливый.

Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.

– Опять? – спрашивали его.

– Что «опять»?

– Уволился?

– Так точно! – Васёка козырял по-военному. – Еще вопросы будут?

– Куклы пошел делать? Хэх...

На эту тему – о куклах – Васёка ни с кем не разговаривал.

Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил:

– Все.

– Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?

Васёка пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать – куда пойти еще работать.

Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.

– Поедешь на бухгалтера учиться?

– Можно.

– Только... это очень серьезно!

– К чему эти возгласы?

«Дебет... Кредит... Приход... Расход... Заход... Обход... – И деньги! деньги! деньги!..»

Васёка продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.

– Смехота, – сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.

Последнее время Васёка работал молотобойцем.

И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:

– Все!

– Что?

– Пошел.

– Почему?

– Души нету в работе.

– Трепло, – сказал кузнец. – Выйди отсюда.

Васёка с изумлением посмотрел на старика кузнеца.

– Почему ты сразу переходишь на личности?

– Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»... Даже злость берет.

– А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.

– Может, попробуешь?

Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.

– Прошу.

Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.

– Иди корову подкуй такой подковой.

Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее – не тут-то было.

– Что?

– Ничего.

Васёка остался в кузнице.

– Ты, Васёка, парень – ничего, но болтун, – сказал ему кузнец. – Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?

– Это верно: я очень талантливый.

– А где твоя работа сделанная?

– Я ее никому, конечно, не показываю.

– Почему?

– Они не понимают. Один Захарыч понимает.

– Принеси мне. Я гляну.

На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штуkenцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

– Вот.

Кузнец развернул тряпку... и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубашой – синей, с белыми горошинами – торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

– Смолокур, – сказал он.

– Ага. – Васёка глотнул пересохшим горлом.

– Таких нету теперь.

– Я знаю.

– А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?

– Песню поет.

– Помню таких, – еще раз сказал кузнец. – А ты-то откуда их знаешь?

– Рассказывали.

Кузнец вернул Васёке смолокура.

– Похожий.

– Это что! – воскликнул Васёка, заворачивая смолокура в тряпку. – У меня разве такие есть!

– Все смолокуры?

– Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка... еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.

– А у кого ты учился?

– А сам... ни у кого.

– А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например...
– Я все про людей знаю. – Васёка гордо посмотрел сверху на старика. – Они все ужасно простые.

– Вон как! – воскликнул кузнец и засмеялся.

– Скоро Стеньку сделаю... поглядишь.

– Смеются над тобой люди.

– Это ничего. – Васёка высморкался в платок. – На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.

Кузнец опять рассмеялся.

– Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?

– А что?

– Совестно небось так говорить.

– Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.

– А какую он песню поет? – без всякого перехода спросил кузнец.

– Смолокур-то? Про Ермака Тимофеевича.

– А артистку ты где видел?

– В кинофильме. – Васёка прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. – Я женщин люблю. Красивых, конечно.

– А они тебя?

Васёка слегка покраснел.

– Тут я затрудняюсь тебе сказать.

– Хэ!.. – Кузнец стал к наковальне. – Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.

Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.

– Не можешь ответить?

– Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, – ответил Васёка.

...С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками – длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу – на манер марша – подпевал:

Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки – донышко,
Три копейки – бок...

– Здравствуй, Васёка! – приветствовали его.

– Здорово, – отвечал Васёка. И шел дальше.

Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.

О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ночи саживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился – слушал про Стеньку.

– ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья – травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало.

И увидел Стенька: один казак совсем уж отошал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его – подает свой кусок мяса. «На, – говорит, – ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». – «Бери!» – «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю – она аж свистнула в воздухе: «В три господу душу мать!.. Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васёка, с повлажневшими глазами, слушал.

– А княжну-то он как! – тихонько, шепотом, восклицал он. – В Волгу взял и кинул...

– Княжну!.. – Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: – Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.

...Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком – строгал и строгал... швыркал носом и приговаривал тихонько:

– Сарынь на кичку.

Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.

А когда «не делалось», Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два – смотрел на звезды и думал про Стеньку.

Приходил Захарыч, спрашивал:

– Василий Егорыч дома?

– Иди, Захарыч! – кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.

– Здоровеньки булы! – Так здоровался Захарыч – «по-казацки».

– Здорово, Захарыч.

Захарыч косился на верстак.

– Не кончил еще?

– Нет. Скоро уж.

– Показать можешь?

– Нет.

– Нет? Правильно. Ты, Василий... – Захарыч садился на стул, – ты – мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай...

Васёка подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.

Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.

– Он не про Ермака поет, – говорил он. – Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. – И он неожиданно сильным красивым голосом запел:

О-о-эх, воля, моя воля!

Воля вольная моя.

Воля – сокол в поднебесьи,

Воля – милые края...

У Васёки перехватывало горло от любви и горя.

Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать... всех людей. И любовь эта жгла и мучила – просилась из груди. И не понимал Васёка, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.

– Захарыч... милый, – шептал Васёка побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. – Не надо, Захарыч... Я не могу больше...

Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Васёка уходил к Стеньке.

...День этот наступил.

Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча.

– Захарыч! Все... иди. Доделал я его.

Захарыч вскочил, подошел к верстаку...

Вот что было на верстаке:

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжелым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

«Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», – сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васёки... не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся.

– Хотел пойти выпить, но... не надо.

– Ну как, Захарыч?

– Это... Никак. – Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. – Как они его... а? За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады! – Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.

Васёка мучительно сморщился и заморгал.

– Не надо, Захарыч...

– Что не надо-то? – сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. – Они же дух из него вышибают!..

Васёка сел на табуретку и тоже заплакал – зло и обильно.

Сидели и плакали.

– Их же ж... их вдвоем с братом, – бормотал Захарыч. – Забыл я тебе сказать... Но ничего... ничего, паря. Ах, гады!..

– И брата?

– И брата... Фролом звали. Вместе их... Но брат – тот... Ладно. Не буду тебе про брата.

Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах.

По поселку ударили третьи петухи.

Солнце, старик и девушка

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами.

Только вечерами наступала прохлада.

И тогда на берег стремительной реки Катунь выходил древний старик, садился всегда на одно место – у коряги – и смотрел на солнце.

Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное.

Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях – коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубашкой торчат острые лопатки.

Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:

– Здравствуйте, дедушка!

Старик кивнул головой.

С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.

– Отдыхаете?

Старик опять кивнул головой. Сказал:

– Отдыхаю.

На девушку не посмотрел.

– Можно я вас буду писать? – спросила девушка.

– Как это? – не понял старик.

– Рисовать вас.

Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.

– Я ж некрасивый теперь, – сказал он.

– Почему? – Девушка несколько растерялась. – Нет, вы красивый, дедушка.

– Вдобавок хворый.

Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала:

– Вы очень красивый, дедушка. Правда.

Старик слабо усмехнулся.

– Рисуй, раз такое дело.

Девушка раскрыла свой чемодан.

Старик покашлял в ладонь.

– Городская, наверно? – спросил он.

– Городская.

– Платют, видно, за это?

– Когда как, вообще-то. Хорошо сделаю, заплатят.

– Надо стараться.

– Я стараюсь.

Замолчали.

Старик все смотрел на солнце.

Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.

– Вы здешний, дедушка?

– Здешний.

– И родились здесь?

– Здесь, здесь.

– Вам сколько сейчас?

- Годков-то? Восемьдесят.
- Ого!
- Много, – согласился старик и опять слабо усмехнулся. – А тебе?
- Двадцать пять.
- Опять помолчали.
- Солнце-то какое! – негромко воскликнул старик.
- Какое? – не поняла девушка.
- Большое.
- А-а... Да. Вообще красиво здесь.
- А вода вона, вишь, какая... У того берега-то...
- Да, да.
- Ровно крови подбавили.
- Да. – Девушка посмотрела на тот берег. – Да.

Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине – между рекой и горами – тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго – тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полахать заря.

– Ушло солнышко, – вздохнул старик.

Девушка сложила листы в ящик.

Некоторое время сидели просто так – слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны.

В долине большими клочьями пополз туман.

В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.

– Хорошо, – сказал негромко старик.

А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: «Опять морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?..»

Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки... Опять морщины!

«Надо работать, работать, работать...»

– Вы завтра придете сюда, дедушка? – спросила она старика.

– Приду, – откликнулся тот.

Девушка поднялась и пошла в деревню.

Старик посидел еще немного и тоже пошел.

Он пришел домой, сел в своем уголке, возле печки, и тихо сидел – ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.

Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо.

Садись ужинать.

Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку – старался не шуметь. Молчали.

Потом укладывались спать.

Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны.

На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:

– Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много – четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет: ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много. Любят меня. По городам все теперь...

Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.

– Трудно было жить? – невпопад спрашивала она.

– Чего ж трудно? – удивлялся старик. – Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.

– Сыновей жалко?

– А как же? – опять удивлялся старик. – Четырех таких положить – шутка нешто?

Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.

А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.

– Ненастье завтра будет, – сказал старик.

Девушка посмотрела на ясное небо.

– Почему?

– Ломает меня всего.

– А небо совсем чистое.

Старик промолчал.

– Вы придете завтра, дедушка?

– Не знаю, – не сразу откликнулся старик. – Ломает чего-то всего.

– Дедушка, как у вас называется вот такой камень? – Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.

– Какой? – спросил старик, продолжая смотреть на горы.

Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.

– Такой? – спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих скрюченных пальцах. – Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.

Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.

– На... камешек-то, – сказал он и протянул девушке камень. – Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко – не отличишь. Бывают: на сорочье яичко похож – с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, – синенькие, тоже с рябинкой с такой.

Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.

– Вы где живете, дедушка?

– А тут, не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, – старик показал дом на берегу, – дальше – Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж, в переулочке, – наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.

– Спасибо.

– Я пошел. Ломает меня.

Старик поднялся и пошел тропинкой в гору.

Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел под ноги.

«Нет, не слепой, – поняла девушка. – Просто слабое зрение».

На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое,

значительное. «Солнце – оно тоже просто встает и просто заходит, – думала девушка. – А разве это просто!» И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.

Не пришел старик и на третий день, и на четвертый.

Девушка пошла искать его дом.

Нашла.

В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рос-
лый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.

– Здравствуйте, – сказала девушка.

Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему
лбу, кивнул.

– Здорово.

– Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка...

Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.

– Жил, – сказал мужик. – Вот домовину ему делаю.

Девушка приоткрыла рот.

– Он умер, да?

– Помер. – Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмот-
рел на девушку. – А тебе чего надо было?

– Так... я рисовала его.

– А-а. – Мужик резко зашаркал рубанком.

– Скажите, он слепой был? – спросила девушка после долгого молчания.

– Слепой.

– И давно?

– Лет десять уж. А что?

– Так...

Девушка пошла из ограды.

На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было,
что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубо-
кий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, станови-
лась намного взрослей.

Экзамен

– Почему опоздали? – строго спросил профессор.

– Знаете... извините, пожалуйста... прямо с работы... срочный заказ был... – Студент – рослый парняга с простым хорошим лицом – стоял в дверях аудитории, не решаясь пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые.

– Берите билет. Номер?

– Семнадцать.

– Что там?

– «Слово о полку Игореве» – первый вопрос. Второй...

– Хороший билет, – профессору стало немного стыдно за свою строгость. – Готовьтесь. Студент склонился над бумагой, задумался.

Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную жизнь прошла не одна тысяча таких вот парней; он привык думать о них коротко – студент. А ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже отдаленно. Все разные.

«Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели учеников. А сегодня мы только профессора», – подумал профессор.

– Вопросов ко мне нет?

– Нет. Ничего.

Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать эту мысль о древних профессорах, но вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.

Вечерело. Улица жила обычной жизнью – шумела. Проехал трамвай. На повороте с его дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей; семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди. Торопились. И машины торопились, и люди торопились.

«Люди всегда будут торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью, и все равно будут торопиться. Куда все это устремляется?..»

– Кхм... – Студент пошевелился.

– Готовы? Давайте. – Профессор отвернулся от окна. – Слушаю.

Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги – билет; билет мелко дрожал.

«Волнуется, – понял профессор. – Ничего, поволнуйся».

– «Слово о полку Игореве» – это великое произведение, – начал студент. – Это... шедевр... Относится к концу двенадцатого века... кхэ... Автор выразил здесь чаяния...

Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что автор «Слова» был юноша... совсем-совсем молодой.

– ... Князя были разобщены, и... В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали на Русь... – Студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.

«Не читал, – профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту. – Да, не читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот вам – ягодки заочного обучения!» Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое время выступить со статьей в газете – не напечатали. Сказали: «Что вы!» – «Вот вам – что вы! Вот вам – князя разобщены».

– Читали?

– Посмотрел... кхэ...

– Как вам не стыдно? – с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать ответа.

Студент побагровел от шеи до лба.

– Не успел, профессор. Работа срочная... заказ срочный...

– Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек, русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное произведение. Очень интересует! – Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть здорового студента. – Вы сами пошли учиться?

Студент поднял на профессора грустные глаза.

– Сам, конечно.

– Как вы себе это представляли?

– Что?

– Учебу. В люди хотел выйти? Да?

Некоторое время они смотрели друг на друга.

– Не надо, – тихонько сказал студент и опустил голову.

– Что не надо?

– Не надо так...

– Нет, это колоссально! – воскликнул профессор, хлопнул себя по колену и поднялся. – Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?

– Стыдно.

– Слава тебе, Господи!

С минуту молчали. Профессор ходил около доски, фыркал и качал головой. Он даже как будто помолодел от злости.

Студент сидел неподвижно, смотрел в билет... Минута была глупая и тяжелая.

– Спросите еще что-нибудь. Я же готовился.

– В каком веке создано «Слово»? – Профессор, когда сердился, упрямился и капризничал, как ребенок.

– В двенадцатом. В конце.

– Верно. Что случилось с князем Игорем?

– Князь Игорь попал в плен.

– Правильно! Князь Игорь попал в плен. Ах, черт возьми! – Профессор скрестил на груди руки и изобразил на лице великую досаду и оттого, что князь Игорь попал в плен, и оттого главным образом, что разговор об этом получился очень уж глупым. Издевательского тона у него не получилось – он действительно злился и досадовал, что вовлек себя и парня в эту школьную игру. Странное дело, но он сочувствовал парню и потому злился на него еще больше.

– Ах, досада какая! Как же это он попал в плен?!

– Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь, – студент сказал это резким, решительным тоном. И встал.

На профессора тон этот подействовал успокаивающе. Он сел. Парень ему нравился.

– Давайте говорить о князе Игоре. Как он там себя чувствовал? Сядьте, во-первых.

Студент остался стоять.

– Ставьте мне двойку.

– Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! – почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости. – Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете?!

Студент, стоя некоторое время, непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами.

– Понимаю, – сказал он.

– Так. Что понимаете?

– Я сам в плену был.

– Так... То есть как в плену были? Где?

- У немцев.
- Вы воевали?
- Да.

Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый.

- Долго?
- Три месяца.
- Ну и что?
- Что?

Студент смотрел на профессора, профессор – на студента. Оба были сердиты.

- Садитесь, чего вы стоите, – сказал профессор. – Бежали из плена?
- Да. – Студент сел. Опять взял билет и стал смотреть в него. Ему хотелось скорей уйти.
- Как бежали? Расскажите.
- Ночью. С этапа.
- Подробней, – приказал профессор. – Учитесь говорить, молодой человек! Ведь это тоже надо. Как бежали? Собственно, мне не техника этого дела интересна, а... психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько – попасть в плен? – Профессор даже поморщился... – Вы как попали-то? Ранены были?

– Нет.

Помолчали. Немножко дольше, чем требуется для беседы на такую тему.

- А как же?
- Попали в окружение. Это долго рассказывать, профессор.
- Скажите, пожалуйста, какой он занятой!
- Да не занятой, а...
- Страшно было?
- Страшно.
- Да, да. – Профессору почему-то этот ответ очень понравился. Он закурил. – Закуривайте тоже. В аудитории, правда, не разрешается, но... ничего...
- Я не хочу. – Студент улыбнулся, но тут же посерьезнел.
- Деревня своя вспоминалась, конечно, мать?... Вам сколько лет было?
- Восемнадцать.
- Вспоминалась деревня?
- Я из города.
- Ну? Я почему-то подумал – из деревни. Да...

Замолчали. Студент все глядел в злополучный билет; профессор поигрывал янтарным мундштуком, рассматривал студента.

- О чем вы там говорили между собой?
- Где? – Студент поднял голову. Ему этот разговор явно становился в тягость.
- В плену
- Ни о чем. О чем говорить?
- Черт возьми! Это верно! – профессор заволновался. Встал. Переложил мундштук из одной руки в другую. Прошелся около кафедры. – Это верно. Как вас зовут?
- Николай.
- Это верно, понимаете?
- Что верно? – студент вежливо улыбнулся. Положил билет. Разговор принимал совсем странный характер – он не знал, как держать себя.
- Верно, что молчали. О чем же говорить! У врага молчат. Это самое мудрое. Вам в Киеве приходилось бывать?
- Нет.

– Там есть район – Подол называется, – можно стоять и смотреть с большой высоты. Удивительная даль открывается. Всякий раз, когда я стою и смотрю, мне кажется, что я уже бывал там когда-то. Не в своей жизни даже, а давным-давно. Понимаете? – у профессора на лице отразилось сложное чувство – он как будто нечаянно проговорился о чем-то весьма сокровенном и теперь, во-первых, опасался, что его не поймут, во-вторых, был недоволен, что проговорился. Он смотрел на студента с тревогой, требовательно и заискивающе.

Студент пожал плечами, признался:

– Как-то сложно, знаете.

– Ну, как же! Что тут сложного? – Профессор опять стал быстро ходить по аудитории. Он сердился на себя, но замолчать уже не мог. Заговорил отчетливо и громко: – Мне кажется, что я там ходил когда-то. Давно. Во времена Игоря. Если бы мне это казалось только теперь, в последние годы, я бы подумал, что это старческое. Но я и молодым так же чувствовал. Ну?

Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что им, собственно, требуется сейчас выяснить.

– Я немного не понимаю, – осторожно заговорил студент, – при чем тут Подол?

– При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчет того, что – молчали. Я в плену не был, даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я каким-то образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену – молчат. Не на допросах – я мог об этом много читать, – а между собой. Я многое там узнал и понял. Я, например, много думал над вопросом: как бесшумно снимать часовых? Мне думается, их надо пугать.

Студент удивленно посмотрел на профессора.

– Да. Подползти незаметно и что-нибудь очень тихо спросить. Например: «Сколько сейчас времени, скажите, пожалуйста?» Он в первую секунду ошалеет, и тут бросайся на него.

Студент засмеялся, опустив голову.

– Глупости говорю? – Профессор заглянул ему в глаза.

Студент поторопился сказать:

– Нет, почему... Мне кажется, я понимаю вас.

«Врет. Не хочет обидеть», – понял профессор. И скис. Но счел необходимым добавить еще:

– Это вот почему: наша страна много воюет. Трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому.

Долго после этого молчали – отходили. Надо было вернуться к исходному положению: к «Слову о полку Игореве», к тому, что это великое произведение постыдно не прочитано студентом. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса:

– Один бежал?

– Нет, нас семь человек было.

– Наверно, думаете: вот привязался старый чудака! Так?

– Да что вы! Я совсем так не думаю, – студент покраснел так, как если бы он именно так и подумал. – Правда, профессор. Мне очень интересно.

Сердце старого профессора дрогнуло.

– Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. «Слово» надо, конечно, прочитать. И не раз. Я вам подарю книжку... у меня как раз есть с собой... – Профессор достал из портфеля экземпляр «Слова о полку Игореве», подумал. Посмотрел на студента, улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту. – Не читайте сейчас. Дома прочитаете. Вы заметили: я суетился сейчас, как неловкий жених. – Голос у профессора и выражение лица были грустными. – После этого бывает тяжело.

Студент не нашелся, что на это сказать. Неопределенно пожал плечами.

– Вы все семеро дошли живыми?

– Все.

– Пишете сейчас друг другу?

– Нет, как-то, знаете...

– Ну, конечно, знаю. Конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще «Слово» не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня. «Комони ржуть за Сулою; звонить слава въ Кыеве; трубы трубятъ въ Новеграде; стоять стязи въ Путивле!» А? – Профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь в последний раставший звук чудной песни. – Давайте зачетку. – Он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: – До свидания.

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке – боялся посмотреть в нее, боялся, что там стоит «хорошо» или, что еще тяжелее – «отлично». Ему было стыдно.

«Хоть бы „удовлетворительно“, и то хватит», – думал он.

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку... некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел.

В зачетке стояло: «плохо».

На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал:

«Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев».

Студент оглянулся на окна института, и ему показалось, что в одном он увидел профессора.

...Профессор действительно стоял у окна. Смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал.

Степкина любовь

Весной, в апреле, Степан Емельянов влюбился. В целинщицу Эллочку. Он видел ее всего два раза. Один раз подвез из города до деревни – ничего. Сидели рядом и молчали. На ухабах полуторку подкидывало. Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, точно хотела сказать: «Вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого». И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан – ничего, даже не смотрел на девушку. Насвистывал себе «Амурские волны» и думал об аккумуляторе (у него аккумулятор сел).

Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами.

Степан слегка зарумянился в скулах.

– Бросьте вы...

– Почему? – Девушка вскинула на него зеленоватые, прозрачные глаза. – А что?

– Ничего. – Степан «кинул» скорость, газанул и уехал.

«Бывают же такие красивые!» – подумал он о девушке. И все. И забыл о ней.

Мотался неделями по нелегким алтайским дорогам, ночевал где придется, видел других девушек, и красивых, и не очень красивых – всяких. Мало ли девушек на белом свете! Обо всех думать – голова распухнет.

Наступил апрель.

Как-то в субботу заехал Степан домой. Помылся в бане, надел вышитую рубаху, новенькие, мягкого хрома сапоги, выпил ковш крепкой медовухи и пошел в клуб посмотреть постановку. Должны были играть свои, деревенские артисты. Степан очень любил, когда играли свои. Интересно. Знаешь человека вот с таких лет, приходишь в клуб, глядь – тот же Гришка Новоселов, скажем, бегают по сцене с бородой по пояс и орет дурным голосом: «Живьем тебя сгною, такой-сякой!...»

Степан всегда хохотал в таких случаях, и на него всегда шикали соседи и говорили, что он не понимает, что к чему.

Сел Степан поближе к сцене и стал смотреть. И видит: выходит на сцену та самая девушка, которую он подвез из города. Такая же красивая, только спокойная и какая-то очень важная: голова чуть откинута назад, русые косы по пояс, в красных сапожках. Ходит медленно, голову поворачивает медленно, а голос родной какой-то. Степан почему-то начал волноваться. Он узнал ее сразу. Только он не думал, что она такая красивая. То есть он знал, что она красивая, но не так.

Потом на сцену вышел один нахальный парень, Васька Семенов, колхозный счетовод. В шляпе, в очках, тоже очень важный. В другое время Степан тут обязательно бы захохотал, но сейчас ему было не до смеха. Он смотрел на девушку и ждал, что у них будет с этим Васькой. Он увидел, как заблестели глаза девушки, как вся она как-то съежилась, как будто испугалась чего. Степану стало жалко ее.

– Зачем ты пришел? – спросила она.

– Я не могу без тебя! – говорит этот дурак громко, на весь зал.

– Уходи, – говорит девушка, но как-то так, что слышится больше: «Не уходи».

– Я не уйду, – говорит Васька и подходит к ней ближе.

Степан вцепился руками в край скамьи. Он знал, что этот Васька так просто не уйдет. И не успел он глазом моргнуть, не успел подумать, чем все это кончится, как счетоводишка ловко обнял девушку за плечи, чуть завалил на левую руку и поцеловал. Степан видел губы девушки после поцелуя – припухшие, чуточку влажные, приоткрытые. Они вздрагивали в стыдливой, счастливой улыбке. У Степана потемнело в глазах. Он встал и пошел из клуба.

На улице прислонился к столбу и долго не мог прийти в себя.

«Как же так!..» – думал он.

Три дня ходил Степан сам не свой. (Машину он поставил на ремонт.) Он узнал, что девушку зовут Элла, что она из города Воронежа, работает учетчицей в тракторной бригаде. И все. Хотел было поговорить с Васькой Семеновым, чтобы тот не особенно наигрывал в постановке, но вовремя одумался: это ж не по правде у них. Люди засмеют.

Как-то вечером Степан начистил до блеска свои хромовые сапоги и направился... к Эллочке. Дошел до ворот (она жила у стариков Куксиных), постоял, повернулся и пошел прочь. Побрел за деревню, к реке. Сел на сырую землю, обхватил руками колени, уронил на них голову и так просидел до утренней зари. Думал.

Он похудел за эти дни; в глазах устоялась серьезная, черная тоска. Ничего не ел почти, курил одну за одной папиросы и думал, думал...

– Чего это ты? – спросил его отец.

– Так... – Степан задавил сапогом окурок и снова полез за папиросами, а сам смотрел в сторону.

Эллочку он не видел ни разу за это время. В клуб больше не ходил.

На четвертый день Степан заявил отцу:

– Хочу жениться.

– Ну? Кого хочешь брать? – поинтересовался Егор Северьяныч, отец Степана.

– Эту... новенькую... учетчицу... – тихо ответил Степан, недовольно глядя мимо отца в окно.

Егор Северьяныч задумался.

– Ты с ней знакомый?

– Та-а... – Степан замялся. – Нет.

– Я сватать не пойду, – твердо заявил Егор.

– Почему?

– Не хочу позора на старости лет. Знаю я такое сватовство: придешь, а девка ни сном ни духом не ведает. Сперва договорись с ней. Погуляй малость, как все люди делают, тогда пойду сватать. А то... Ты вечно, Степка, наобум Лазаря действуешь. Учил тебя, учил, все без толку.

Этот разговор слышал дед Северьян, отец Егора. Он лежал на печке хворый.

– Скажите, какой прынец выискался: сватать он не пойдет, – сердито сказал Северьян. – Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать?

Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал. Чего говорить, сам он в молодости был такой же, как Степан: боялся на девку глаза поднять.

– Я могу, конечно, сходить, – заговорил он, – но только... я думаю, не пойдет она за тебя.

– Пойдет! – сказал дед Северьян. – За такого парня любая пойдет.

– Почему ты думаешь, что не пойдет? – спросил Степан, чувствуя, что холодеет изнутри.

– Городская ж она... черт их поймет, чего им надо. Скажет – отсталый.

– Сам ты отсталый, Егор, – опять встрял Северьян. – Сейчас не глядят на это. Сейчас девки умнее пошли. Я старый человек и то это понимаю.

В четверг с утра отец с сыном собирались на сватовство.

Степан опять надел вышитую рубаху, долго приглаживал перед зеркалом прямые, жесткие волосы.

Егор Северьяныч, болезненно сморщившись, ловил негнушимися, темными пальцами маленькую скользкую пуговицу на ширинке новых брюк, с великим трудом вгонял ее в тугую петельку.

– Сошьют же, оглоеды! – ругался он. – Не лезет, хоть ты что. Хоть матушку-репку пой.

Степан пригладил волосы, остановился посреди избы, соображая, что еще сделать над собой.

– Надень галстук, – посоветовал дед Северьян.

– На вышитую рубаху не идет, – пояснил Степан.

Собрались наконец.

Егор Северьяныч тронул огромной ладонью затылок, озадаченно посмотрел на отца.

– А пол-литра-то брать с собой или нет? Они ведь теперь по-новому все живут, не поймешь ничего.

Дед Северьян подумал.

– Возьми в карман, – посоветовал он. – Понадобится – она при себе.

Пошли.

День был солнечный, звонкий. Текли ручьи. Небо отражалось в лужах; синие осколки его там и здесь весело сверкали на черной земле. Апрель всюду бушевал на дорогах.

Шли молча. Старательно обходили лужи, чтобы не замарать сапоги.

У Куksiных огромный домина выстроен.

В первых двух комнатах никого не было. Егор Северьяныч приуныл: он думал, что сейчас разведет лясы со стариком Куksiным и в разговоре как-нибудь вставит: «А мы ведь к вам того, по делу...» Старик обязательно помог бы ему. Теперь же надо проходить прямо в горницу, где жила Элла.

Отец с сыном переглянулись и направились к горнице.

Егор казанком указательного пальца осторожно стукнул в дверь.

– Да! – ответили из горницы.

У Степана больно подпрыгнуло сердце.

Егор Северьяныч приоткрыл половинку двери, с трудом протиснулся внутрь. Степан – за ним. Стали у порога.

Прямо перед ними за столом сидел Васька Семенов, а рядом с ним, близко, – Эллочка.

Чай попивают. Васька без пиджака, в шелковой желтой рубахе, выбритый до легкого сияния. Сидит как у себя дома, свободно, даже развалился немного. Смотрит на Емельяновых ласково и глупо.

Эллочка легко поднялась с места, подставила гостям стулья.

– Проходите, садитесь, пожалуйста.

Егор Северьяныч, глядя на Ваську, прошел и сел. Потом оглянулся на сына. У Степана во всю щеку полыхал горячий румянец. Он точно прирос к полу.

– Садитесь, что вы стоите! – весело крикнула Эллочка. – Вы что, его никогда не видели?

Степан сел, положил на колени фуражку.

Некоторое время молчали.

Эллочка, готовая рассмеяться, бросала взгляды то на Егора, то на Ваську. Васька тоже ничего не понимал.

– Слушаю, товарищи. А я помню вас, – повернувшись к Степану, весело сказала Элла. – Я однажды ехала с вами из города. Вы тогда очень сердитый были...

Степан мучительно улыбнулся.

А Васька счел необходимым пошутить.

– Левачков, значит, подбрасываем, Степан Егорыч? Нехорошо!..

Егор Северьяныч еще раз глянул на гладкое Васькино лицо, нагнул по-бычьей голову и сказал прямо:

– Мы, девка, сватать тебя пришли.

Эллочка от неожиданности приоткрыла рот.

– Как?..

– Ну как сватают! Сын вон у меня, – Егор кивнул в сторону Степана, – хочет, чтобы ты за него выходила. Если ты согласная, конечно.

Элла взглянула на Степана.

Тот сжал до отеков кулаки, положил на колени и внимательно их рассматривал. На лбу у него мелким бисером выступил пот. Он не вытирал его.

– То есть замуж?.. – спросила Элла и покраснела.

– Куда же еще, – вздохнул Степан. И посмотрел в глаза Ваське.

Васька хохотнул и пошевелился на стуле. И уставился на Эллу. Она стояла около стола, розовая от смущения, старательно снимала белыми пальчиками соринку с платья.

– Поздно хватился, Степа, – громко сказал Васька и опять пошевелился на стуле. – Опоздал.

Степан на этот раз не удостоил его взглядом, смотрел неотступно, требовательно и серьезно на девушку, ждал. Смущение его отчего-то прошло.

Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще невыразимо прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде. У Степана дрогнуло от радости сердце. Никто бы не смог объяснить, что такое родилось вдруг между ними и почему родилось. Это понимали только они двое. Да и то не понимали. Чувствовали.

И в этот-то момент Васька брякнул:

– Мы скоро поженимся, Степа...

И так это у него глупо вышло, что он даже сам подумал: не надо бы ему так говорить.

Егор Северьяныч встал было и пошел из горницы, но Элла как-то вся вдруг встрепенулась, даже немного излишне поспешно сказала:

– Куда вы? Сват называется! Я-то вам еще ничего не ответила.

Она быстро приходила в себя. Она не смотрела на Степана, но Степан... Степану неважно было, смотрит она на него или нет. Степан весь горел от стыда и радости. Никакие силы не подняли бы его сейчас с места и не заставили уйти.

Егор Северьяныч остановился. Васька сидел красный и растерянный. Он с ужасом тоже начал что-то понимать.

– Садитесь. И давайте чай пить, что ли.

Эллочка сначала растерялась, потом заговорила уже уверенно и с какой-то другой теперь веселостью, чем вначале, – с решительной веселостью.

Все были в ожидании того, что сейчас непременно произойдет.

– Может, мне лучше уйти? – громко спросил Васька, и голос его дрогнул от обиды. Васька погибал, погибал прямо и просто. Он даже не пытался спастись.

– Я считаю, что да, – тоже громко сказал Степан.

Он немного поторопился. Не надо бы так тоже. Но уж тут ничего не сделаешь. Их было двое, и один должен был уйти. Оба действовали грубо. И кого-то одного Эллочка должна была извинить.

Васька на этот раз тоже не удостоил Степана взглядом: он смотрел на Эллу. Элла опять покраснела и глянула на Егора Северьяныча, который все еще стоял посреди горницы и переводил глаза то на одного, то на другого, то на третьего. Он совсем не мог сообразить, что тут происходит. Эллочка невесело рассмеялась:

– Вот положение-то, господи! Хоть бы помог кто-нибудь. Ну, почему вы стоите-то! Садитесь же!

Она даже ногой слегка пристукнула. Ей было нелегко. Васька поднялся со стула. Стал надевать пиджак. Он его как-то очень медленно надевал. Все ждали, когда он наконец надеет его.

– Эх, Степа, жалко мне тебя, – сказал Васька.

И пошел из горницы. На пороге еще оглянулся, зло и весело посмотрел на всех и вышел, крепко хлопнув дверью.

Некоторое время в горнице было тихо.

Степан осторожно вытер со лба пот. И улыбнулся.

– Нет, вы как хотите, а я сейчас выпью, – сказал Егор Северьяныч, подходя к столу. – Я даже ослаб от такого сватовства.

Племянник главбуха

Совещание было коротким.

– Хватит миндальничать! – сказал дядя. – Дальше еще хуже будет. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой.

Мать всплакнула было, но скоро успокоилась и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата:

– Помоги, Егорушка! Я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит... На днях соседской свинье глаз выбил. Я уж просила доктора – доктор, сосед-то, – чтобы не жаловался никуда. Свинья-то теперь боком ходит.

Дядя нахмурился и покачал головой.

– Уж ты будь ему заместо отца родного. Жив был бы Игнат, разве так бы все было... – Мать опять всплакнула.

– Ладно, ладно, – сказал дядя, – чего там!.. Сделаем.

В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами – Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба.

В горницу вошел дядя и объявил:

– Поедешь завтра со мной!

– Куда это?

– В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода.

Витька искренне удивился.

– Какой же из меня счетовод? Вы что?

– Ничего-о, я с тобой сам теперь займусь. Вот так.

Дядя вышел.

Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора.

...Дядя догнал его на коне за поскотиной.

Витька, заведев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька. Негромко приказал:

– Вылазь!

Витька ни гугу.

– Я ведь знаю, что ты здесь. Бегать еще не умеешь: кто же прячется возле дороги?

Витька вышел. Потер ушибленное колено.

– Где же еще спрячешься? Чистое поле кругом.

– Пошли, – сказал дядя беззлобно. – Ну и осел же ты, Витька! Даже удивительно.

Витька шагал рядом с мордой лошади. Молчал.

– Куда бы ты побежал, интересно?

Витька сплюнул на дорогу, сунул руки в карман и посмотрел далеко-далеко – на закат. Ему не хотелось об этом говорить.

– Характер! Эх, отца бы тебе сейчас!.. Ну ничего!

Долго молчали.

В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной.

– Чего тебе в жизни надо, Витька?

Молчание.

– Почему ты не учишься, как все люди?

Опять молчание.

– Работать хочешь?

– Хочу.

– Кем? Конюхом?

– Не обязательно конюхом...

Дядя тоже сплюнул на дорогу и замолчал.

– Сопляк, – сказал он через некоторое время.

Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся.

– У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты... Вот осел-то! – громко возмутился дядя. – Ты думаешь, конюхом – хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхи-то идет. Голова садовая! Ну, ничего! Я возьмусь за тебя.

Витьку посадили за большой стол, рядом с толстой девушкой, которую все называли Лидок.

Лидок внимательно посмотрела на Витьку... И вздохнула:

– Надо же, такие глаза и парню достались.

Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин, главбух объединенного колхоза, занимал отдельный кабинет. Время от времени он, озабоченный, выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек «балансовый отчет» или «платежную ведомость». И внимательно и строго смотрел на Витьку.

Девушек в конторе было четыре. Все, как одна, скучные и глупенькие. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька презирал их. Но больше всех он невзлюбил Лидок.

– Ты таблицу умножения знаешь, конечно?

– Знаю, конечно.

– Перемножь вот эти цифры. Только не сбейся!

Витька умножал скучное число на число еще более скучное, получал скучнейший результат и подавал Лидок. Лидок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькино вычисление.

– Пра-льно. Тренируйся больше.

– Ну и дура ты! – не выдержал Витька.

Лидок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку.

– Ты что это?

– Кто же тут тренируется? Тренируются на турнике или в волейбол.

– Егор Васильевич! – позвала Лидок.

Из кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный.

– Он на меня говорит «дура».

– Зайди ко мне.

Витька не без робости вошел к дяде в кабинет.

– Вот что, дорогой племянничек, – заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке, – если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю. Понял? Я тебе не мать. Понял?

– Понял.

– Вот так! Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться.

Витька вышел из кабинета, прошел на свое место.

Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него.

– Попало? – спросила Лидок.

Витька взял чистый лист бумаги... задумался, глянул на солидную Лидок и написал крупно, во весь лист: «ФИФЫЧКА». И показал Лидок.

Лидок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке.

«КОНЮХ» – было написано на листе.

Витька взял новый лист и написал: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».

Лидок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала: «ТЫ ЕЩЕ НЕ ДОРОС».

Витька долго думал, потом написал в ответ: «СВЕЖАСРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ДУБ».

Лидок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки. И пошла с ним в кабинет.

Витька, недолго раздумывая, поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собою дверь.

Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели. Трава поблекла, сухо шуршала под ногами.

Витька вышел за деревню, на косогор, сел и стал смотреть в степь.

День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отсвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витьке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать. Захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами – с дорогой, с дождиком, с печкой... Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит: «Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам – приведи нас скорей домой». Или если печка долго не разгорается, она выговаривает ей: «Ну, милая, ты уж сегодня совсем что-то... Барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витьке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, которые легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же – ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища, в горы, спать в степи... А мать со слезами (вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала) умоляла его: «Учись ты ради Христа, учись, сынок! Ты видишь, какая теперь жизнь пошла: ученые шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский Вадим Ильич, так этим врачом она все глаза протыкала Витьке: «Смотри, как живет человек». Витька ненавидел сытого врача, одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом. Ограничился пока тем, что выбил его свинье левый глаз.

– Матушка степь, помоги мне, пожалуйста, – попросил Витька, а в чем помочь, он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое, хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы Лидок не мучила его вычислениями. Стало легче оттого, что он попросил матушку степь. Он незаметно заснул.

Разбудил его дядя.

Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь. Было уже темно.

– Замерз? – спросил дядя.

– Нет.

– Нет... – Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. – Ох, Витька, Витька... обормот ты мой!.. – Дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ними стоит конь. – Садись.

Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади.

– Ну что? – спросил дядя, когда поехали.

– Ничего.

– Не хочешь быть бухгалтером?

– Нет.

– Ни в какую?

Витьке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал.

– Ну и черт с ней! Знаешь... тоже, я тебе скажу, не велика пешка – бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только, я прошу тебя, не хулигань. Разобидел давеча девку до слез. Она ж невеста, а ты ей такие слова. Чудо!

– Она сама начала.

Дядя закурил и задумался.

Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды. Крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки. Разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой по чему-то мягкому, наверное, по перине, и приговаривали:

– Ты гляди, что делается – пыли-то! Пыли-то!

– Завтра пойдем с тобой к председателю, посоветуемся, – заговорил дядя. – Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил. Хочешь?

– Конечно. А домой я не поеду?

– Нет, домой пока не надо.

– Почему?

Дядя помолчал.

– Мать твоя замуж, наверно, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один...

Витька чуть с коня не свалился – настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая, во-вторых... как это так? А как он, Витька?

– Он неплохой мужик. Я его знаю немного, – рассказывал дядя, а Витька с болезненной остротой представил себе, как ходит по ихнему дому этот «нплохой мужик» и зевает. Почему-то зевает.

«Из-за меня это она. Потому что я непутевый», – догадался Витька, и ему стало до слез жаль свою мать.

Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий.

У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку.

– Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенцы занеси – дождь, наверно, опять будет. Я пошел на собрание. Сам раздевайся и лезь сразу на печь.

Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте.

Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот, подстегнул лошадь.

До Игринево, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро: лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется, потом успокоился и стал думать о матери. Не терпелось поскорей увидеть ее и сказать... что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной – это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя.

Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила. Прильнула лицом к окну.

Витька спрыгнул с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь.

– Кто там? – Мать не на шутку испугалась.

– Я, – сказал Витька.

– Витя!.. Ты чего, сынок? – Открыла дверь, обняла второпях сына, потом спохватилась. – Ты чего, сынок? Не с Егором ли чего? Он с тобой?

– Нет. – Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь. Огляделся.

Мать во все глаза смотрела на сына. Какой-то он был... странный.

– Что случилось-то, Витька?!

– Ничего. – Витька присел на краешек кровати, долго молчал. – Мам... – Голос его чуть дрогнул. – Ты... замуж, что ли, выходишь?..

Мать вспыхнула горячим румянцем. Помолчала, потом заговорила торопливо, с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность:

– Да ты что?.. Кто тебе сказал-то? Господи... Ты откуда взял-то это?

«Врет», – понял Витька. И встал.

– Пойду коня расседлаю.

Когда он вышел, мать быстро натянула платишко, покружилась по избе, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала от чего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет... Так и пройдет.

Когда Витька вошел, она еще плакала.

Витька сел напротив матери. Неловко, осторожно провел рукой по ее волосам.

– Не надо.

– Я ничего, сынок. Я – так. Чаю хочешь?

– Я насовсем приехал, мам.

– Ну и хорошо! Хорошо, сынок! Я тебе чаю сейчас поставлю.

Демагоги

Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмывали вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками прищлепывал по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти – Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, посматривал на небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

– ...Я ему на это отвечаю, слышь: «Милый, – говорю, – человек! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь». – Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал: – «Ты, конечно, начальство!.. Но для меня ты – ноль без палочки. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!»

– А он что? – спросил Петька.

– А?

– А он что на это?

– Он? «А я, – говорит, – на тебя вовсе не ору». Тогда я ему на это: «Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу».

– Ха-ха-ха! – закатился Петька.

Старик прибавил шаг, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

– Чего ты?

– Хитрый ты, деда!

– Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу...

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круги.

Петька замер.

– Видал?

Старик тоже остановился.

– Здесь рыбешка имеется, – негромко сказал он. – Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду.

– Вот такая, однако! – Он показал руками около метра.

– Талмешка... Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя – порвешь только. – Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.

– Ох ты! – тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. – Может, попробуем?

– А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула. Раньше еще, когда я молодой был.

Петька посмотрел на старика.

– Как утонула?

– Как... Нырнула и запуталась волосами в коряге. У нее косы сильно большие были.

Помолчали.

– Деда, а почему так бывает: когда человек утонет, он лежит на дне, а когда пройдет время, он выплывает наверх. Почему это?

– Его раздувает, – пояснил дед.

– Ее нашли потом?

– Кого?

– Девку ту.

– Конечно. Сразу нашли... Вся деревня, помню, смотреть сбежалась. – Дед помолчал и добавил задумчиво: – Она красивая была... Марья Малюгина.

Петька глядел на воду, в которой притаилась страшная коряга.

– Она здесь лежала? – Петька показал глазами на берег.

– Где-то здесь. Я уже забыл теперь. Давно это было.

Петька еще некоторое время смотрел на воду.

– Жалко девку, – вздохнул он. – Нырять в воду, и косы зачем-то распускать. Вот дуреха!

– А?

– Я про Марью!

– Хорошая девка была. Шибко уж красивая.

Шумела река, шелестел в чаще ветер. Вода у берегов порозовела – солнце садилось за далекие горы. Посвежело. Ветер стал дергать по воде сильнее. Река наершилась рябью.

– Пошли, Пётра. Ветер подымается. К ночи большой будет: с севера повернул.

Петька, не вынимая рук из карманов, двинулся дальше.

– Северный ветер холодный. Правильно?

– Верно.

– Потому что там Северный Ледовитый океан.

Дед промолчал на это замечание внука.

– Деда, а знаешь, почему наша речка летом разливается? Другие весной – нормально, а наша в середине лета. Знаешь?

– Почему?

– Потому что она берет начало в горах. А снег, сам понимаешь, в горах только летом тает.

– Это вам учительша все рассказывает?

– Ага.

– Она верно понимает. Какие теперь люди пошли! Ей небось и тридцати нету?

– Это я не знаю.

– А?

– Не знаю, говорю!

– Ей, наверное, двадцать так. А она уж столько понимает. Почти с мое.

– Она умная. – Петька поднял камень и кинул в воду. – А я на руках ходить умею! Ты не видел еще?

– Ну-ка...

Петька разбежался, стал на руки и... брякнулся на задницу.

– погоди! Еще раз!!!

Дед засмеялся.

– Ловко ты!

– Да ты погоди! Глянь!.. – Петька еще раз разбежался и снова упал.

– Ну, будет, будет! – сказал дед. – Я верю, что ты умеешь.

– Надо малость потренироваться. Я же вчера только научился. – Петька отряхнул штаны. – Ну ладно, завтра покажу.

...Подожли к месту, где река делает крутой поворот. Вода здесь несется с бешеной скоростью, кипит в камнях, пенится. Здесь водятся хариусы.

Разделись. Дед развернул невод и первым полез в воду.

Вода была студеная. Дед посинел и покрылся гусиной кожей.

– Ух-ха! – воскликнул он и сел с маху в воду, чтобы сразу притерпеться к холоду.

Петька засмеялся.

– Дерет?

Дед фыркал, крутил головой, одной рукой выжимал бороду, а другой удерживал невод.

– Пошли!

Поставили палки вертикально и побежали, обгоняя течение. Невод выгнулся дугой впереди них и тянул за собой. Петька скользил по камням. Один раз ухнул в ямку, выскочил, закрутил головой и воскликнул, как дед:

– Ух-ха!

– Подбавь! – кричал дед.

Вода доставала ему до бороды; он подпрыгивал и плевался.

Вдруг невод сильно повлекло течением от берега вглубь. Петька прикусил губу, изо всех сил удерживая его.

– Держи, Пётра! – кричал дед. Вода заливала ему рот.

Петька напрягал последние силы.

Голова деда исчезла. Невод сильно рвануло. Петька упал, но палку из рук не выпустил. Его нанесло на большой камень, крепко ударило. Петька хотел ухватиться одной рукой за этот камень, но рука соскользнула с его ослизлого бока. Петьку понесло дальше.

Он вытянул вперед ноги и тотчас ударился еще об один камень. На этот раз ему удалось упереться ногами в камень и сдержать невод.

Огляделся – деда не было видно. Только на короткое мгновение голова его показалась над водой. Он успел крикнуть:

– Ноги! Дер... – И опять исчез под водой.

Невод сильно дергало. Петька понял: ноги деда запутались в неводе. Петька согнулся пополам, закусил до крови губу и медленно стал выходить на берег. Упругие волны били в грудь, руки онемели от напряжения. Петька сморщился от боли и страха, но продолжал медленно, шаг за шагом, то и дело срываясь с камней, идти к берегу и тащить невод, на другом конце которого барахтался спутанный по ногам дед.

...Дед был уже без сознания, когда Петька выволок его на берег.

– Деда! А деда!... – звал Петька и плакал. Потом принялся делать ему искусственное дыхание.

Деда стало рвать водой. Он корчился и слабо стонал.

– Ты живой, деда? – обрадовался Петька.

– А?

Петька погладил деда по лицу.

– Напужался я до смерти, деда.

Дед закрутил головой.

– Звон стоит в голове. Чего ты сказал?

– Ничего.

– Ох-хох, Пётра... Я уж думал, каюк мне.

– Напужался?

– А?

– Здорово трухнул?

– Хрен там! Я и напужаться-то не успел.

Петька засмеялся.

– А я-то гляжу, была голова – и нету.

– Нету... Бодался бы я там сейчас с налимками. Ну, история. Понос теперь прохватит, это уж точно.

– И напужался ж я, деда! А главное, позвать некого.

– А?

– Ничего. – Петька смотрел на деда и не мог сдержать смех – до того был смешным и растерянным дед.

Дед тоже засмеялся и зябко поежился.

– Замерз? Сейчас костерчик разведем!

Петька принес одежду. Оделись. Затем набрал сухого валежника, поджег. И сразу ночь окружила их со всех сторон высокими черными стенами.

Громко трещал сухой тальник, далеко отскакивали красные угольки. Ветер раздувал пламя костра, и огненные космы его трепались во все стороны.

Сидели, скрестив по-татарски ноги, и глядели на огонь.

– ...А как, значит, повез нас отец сюда, – рассказывал дед, – так я, слышь? – залез на крышу своей избы и горько плакал. Я тогда с тебя был, а может, меньше. Шибко уж неохота было из дому уезжать. Там у нас тоже речка была, она мне потом все снилась.

– Как называется?

– Ока.

– А потом?

– А потом – ничего. Привык. Тут, конечно, лучше. Тут же земли-то какие. Не сравнить с той. Тут земля жирная.

Петька засмеялся.

– Разве земля бывает жирная?

– А как же?

– Земля бывает черноземная и глинистая, – снисходительно пояснил Петька.

– Так это я знаю! Черноземная... Чернозем черноземом, а жирная тоже бывает.

– Что она, с маслом, что ли?

– Пошел ты! – обиделся дед. – Я ее всю жизнь вот этими руками пахал, а он мне будет доказывать. Иная земля, если ты хочешь знать, такая, что весной ты посеял в нее, а осенью получаешь натуральный шиш. А из другой, матушки, стебель в оглоблю прет, потому что она жирная.

– Ты «Полоску» не знаешь?

– Какую полоску?

Петька начал читать стихотворение:

Поздняя осень. Грачи улетели.
Лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, —
Грустную думу...

Забыл, как дальше.

– Песня? – спросил дед.

– Стихотворение.

– А?

– Не песня, а стихотворение!

– Это все одно: складно, значит, петь можно.

– Здрас-сте! – воскликнул Петька. – Стихотворение – это особо, а песня – тоже особо.

– Ох! Ох! Поехал! – Дед подбросил хворосту в костер. – С тобой ведь говорить-то – надо сперва полбарана умять.

Некоторое время молчали.

– Деда, а как это песни сочиняют? – спросил Петька.

– Песни складывают, а не сочиняют, – пояснил дед. – Это когда у человека большое горе, он складывает песню, чтобы малость полегче стало. «Эх ты, доля, эх ты, доля», например.

– А «Эй, вратарь, готовься к бою»?

– Подожди... я сейчас... – Дед поднялся и побежал в кусты. – Какой вратарь? – спросил он.

– Ну, песня такая!

– А кто такой вратарь?

– Ну, на воротах стоит!..

– Не знаю. Это, наверно, шутейная песня. Таких тоже много. Я не люблю такие. Я люблю серьезные.

– Спой какую-нибудь!

Дед вернулся к костру.

– Чего ты говоришь?

– Спой песню!

– Песню? Можно. Старинную только. Я нынешних не знаю.

Но тут из темноты к костру вышла женщина, мать Петьки.

– Ну, что мне прикажете с вами делать?! – воскликнула она. – Я там с ума схожу, а они костры разводят. Марш домой! Сколько раз, папаша, я просила не задерживаться на реке до ночи. Боюсь я, ну как вы не понимаете?

Дед с Петькой молча поднялись и стали сворачивать невод. Мать стояла у костра и наблюдала за ними.

– А где же рыба-то? – спросила она.

– Чего? – не расслышал дед.

– Спрашивает: где рыба? – громко сказал Петька.

– Рыба-то? – Дед посмотрел на Петьку. – Рыба в воде. Где же ей еще быть.

Мать засмеялась.

– Эх вы, демагоги, – сказала она. – Задержитесь у меня еще раз до ночи... Пожалуюсь отцу, так и знайте. Он с вами иначе поговорит.

Дед ничего не сказал на это. Взвалил на плечо тяжелый невод и пошагал по тропинке первым, мать – за ним. Петька затоптал костер и догнал их.

Шли молча.

Шумела река. В тополях гудел ветер.

Ленька

Ленька был человек мечтательный. Любил уединение.

Часто, окончив работу, уходил за город, в поле. Подолгу неподвижно стоял – смотрел на горизонт, и у него болела душа: он любил чистое поле, любил смотреть на горизонт, а в городе не было горизонта.

Однажды направлялся он в поле и остановился около товарной станции, где рабочие разгружали вагоны с лесом.

Тихо догорал жаркий июльский день. В теплом воздухе настоялся крепкий запах смолы, шлака и пыли. Вокруг было задумчиво и спокойно.

Леньке вспомнилась родная далекая деревня – там вечерами пахнет полыньей и дымом. Он вздохнул.

Недалеко от Леньки, под откосом, сидела на бревне белокурая девушка с раскрытой книжкой на коленях. Она тоже смотрела на рабочих.

Наблюдать за ними было очень интересно. На платформе орудуют ломами двое крепких парней – спускают бревна по следам; трое внизу под откосом принимают их и закатывают в штабеля.

– И-их, р-раз! И-ищ-щ-о... оп! – раздается в вечернем воздухе, и слышится торопливо шелестящий шорох сосновой коры и глухой стук дерева по земле. Громадные бревна, устремляясь вниз, прыгают с удивительной, грозной легкостью.

Вдруг одно суковатое бревно скользнуло концом по следам, развернулось и запрыгало с откоса прямо на девушку. В тишине, наступившей сразу, несколько мгновений лишь слышно было, как бежит по шлаку бревно. С колен девушки упала книжка, а сама она... сидит. Что-то противное, теплое захлестнуло Леньке горло... Он увидел недалеко от себя лом. Не помня себя, подскочил к нему, схватил, в два прыжка пересек путь бревну и всадил лом в землю. Уперся ногами в сыпучий шлак, а руками крепко сжал верхний конец лома.

Бревно ударилось о лом. Леньку отшвырнуло метра на три, он упал. Но и бревно остановилось.

Лом попался граненый – у Леньки на ладони, между большим и указательным пальцами, лопнула кожа.

К нему подбежали. Первой подбежала девушка.

Ленька сидел на земле, нелепо выставив раненую руку; и смотрел на девушку. То ли от радости, то ли от пережитого страха – должно быть, от того и от другого – хотелось заплакать.

Девушка разорвала косынку и стала заматывать раненую ладонь, осторожно касаясь ее мягкими теплыми пальцами.

– Какой же вы молодец! Милый... – говорила она и смотрела на Леньку ласково, точно гладила по лицу ладошкой. Удивительные у нее глаза – большие, темные, до того темные, что даже блестят.

Леньке сделалось стыдно. Он поднялся. И не знал, что теперь делать.

Рабочие похвалили его за смекалку и стали расходиться.

– Йодом руку-то надо, – посоветовал один.

Девушка взяла Леньку за локоть.

– Пойдемте к нам.

Ленька, не раздумывая, пошел.

Шли рядом. Девушка что-то говорила. Ленька не понимал что. Он не смотрел на нее.

Дома Тамара (так звали девушку) стала громко рассказывать, как все случилось.

Ее мать, очень толстая, еще молодая женщина с красивыми красными губами и родинкой на левом виске, равнодушно разглядывала Леньку и устало улыбалась. И говорила:

– Молодец, молодец!

Она как-то неприятно произносила это «молодец» – негромко, в нос, растягивая «е».

У Леньки отнялся язык (у него очень часто отнимался язык), и он ничего путного за весь вечер не сказал. Он молчал, глупо улыбался и никак не мог посмотреть в глаза ни матери, ни дочери. И все время старался устроить куда-нибудь свои большие руки. И еще старался не очень опускать голову – чтобы взгляд не получался исподлобья. Он имел привычку опускать голову.

Сели пить чай с малиновым вареньем.

Мать стала рассказывать дочери, какие она видела сегодня в магазине джемперы – красные, с голубой полоской. А на груди – белый рисунок.

Тамара слушала и маленькими глотками пила чай из цветастой чашки. Она раскраснелась и была очень красивой в эту минуту.

– А вы откуда сами? – спросила Леньку мать.

– Из-под Кемерова.

– О-о, – сказала мать и устало улыбнулась.

Тамара посмотрела на Леньку и сказала:

– Вы похожи на сибиряка.

Ленька ни с того ни с сего начал путано и длинно рассказывать про свое село. Он видел, что никому не интересно, но никак не мог замолчать – стыдно было признаться, что им неинтересно слушать.

– А где вы работаете? – перебила его мать.

– На авторемонтном, слесарем. – Ленька помолчал и еще добавил: – И учусь в техникуме, вечерами...

– О-о, – произнесла мать.

Тамара опять посмотрела на Леньку.

– А вот наша Тamarочка никак в институт не может устроиться, – сказала мать, закинув за голову толстые белые руки. Вынула из волос приколку, прихватила ее губами, поправила волосы. – Выдумали какие-то два года!.. Очень неразумное постановление. – Взяла изо рта приколку, воткнула в волосы и посмотрела на Леньку. – Как вы считаете?

Ленька пожал плечами.

– Не думал об этом.

– Сколько же вы получаете слесарем? – поинтересовалась мать.

– Когда как... Сто, сто двадцать. Бывает восемьдесят...

– Трудно учиться и работать?

Ленька опять пожал плечами.

– Ничего.

Мать помолчала. Потом зевнула, прикрыв ладошкой рот.

– Надо все-таки написать во Владимир, – обратилась она к дочери. – Отец он тебе или нет!.. Пусть хоть в педагогический устроит. А то опять год потеряем. Завтра же сядь и напиши.

Тамара ничего не ответила.

– Пейте чай-то. Вот печенье берите... – Мать пододвинула Леньке вазочку с печеньем, опять зевнула и поднялась. – Пойду спать. До свиданья.

– До свиданья, – сказал Ленька.

Мать ушла в другую комнату.

Ленька нагнул голову и занялся печеньем – этого момента он ждал и боялся.

– Вы стеснительный, – сказала Тамара и ободряюще улыбнулась.

Ленька поднял голову, серьезно посмотрел ей в глаза.

– Это пройдет, – сказал он и покраснел. – Пойдемте на улицу.

Тамара кивнула и непонятно засмеялась.

Вышли на улицу.

Ленька незаметно вздохнул: на улице было легче.

Шли куда-то вдоль высокого забора, через который тяжело свисали ветки кленов. Потом где-то сели – кажется, в сквере.

Было уже темно. И сыро. Пал туман.

Ленька молчал. Он с отчаянием думал, что ей, наверное, неинтересно с ним.

– Дождь будет, – сказал он негромко.

– Ну и что? – Тамара тоже говорила тихо.

Она была совсем близко. Ленька слышал, как она дышит.

– Неинтересно вам? – спросил он.

Вдруг – Ленька даже не понял сперва, что она хочет сделать, – вдруг она придвинулась к нему вплотную, взяла его голову в свои мягкие, ласковые руки (она могла взять ее и унести совсем, ибо Ленька моментально перестал что-либо соображать), наклонила и поцеловала в губы – крепко, больно, точно прижгла каленой железкой. Потом Ленька услышал удаляющиеся шаги по асфальту и голос из темноты, негромко:

– Приходи.

Ленька зажмурился и долго сидел так.

К себе в общежитие он шел спокойный. Медленно нес свое огромное счастье. Он все замечал вокруг: у забора под тусклым светом электрических лампочек вспыхивали холодные огоньки битой посуды... Перебегали через улицу кошки...

Было душно. Собирался дождь.

Они ходили с Тамарой в поле, за город.

Ленька сидел на теплой траве, смотрел на горизонт и рассказывал, какая у них в Сибири степь весной по вечерам, когда в небе догорает заря. А над землей такая тишина! Такая стоит тишина!.. Кажется, если громко хлопнуть в ладоши, небо вздрогнет и зазвенит. Еще рассказывал про своих земляков. Он любил их, помнил. Они хорошо поют. Они очень добрые.

– А почему ты здесь?

– Я уеду. Окончу техникум и уеду. Мы вместе уедем... – Ленька краснел и отводил глаза в сторону.

Тамара гладила его прямые мягкие волосы и говорила:

– Ты хороший. – И улыбалась устало, как мать. Она была очень похожа на мать. – Ты мне нравишься, Ленька.

Катились светлые, счастливые дни. Кажется, пять дней прошло.

Но однажды – это было в субботу – Ленька пришел с работы, наутюжил брюки, надел белую рубашку и отправился к Тамаре: они договорились сходить в цирк. Ленька держал правую руку в кармане и гладил пальцами билеты.

Только что перепал теплый летний дождик, и снова ярко светило солнышко. Город умылся. На улицах было мокро и весело.

Ленька шагал по тротуару и негромко пел – без слов.

Вдруг он увидел Тамару. Она шла по другой стороне улицы под руку с каким-то парнем. Парень, склонившись к ней, что-то рассказывал. Она громко смеялась, закидывая назад маленькую красивую голову.

В груди у Леньки похолодело. Он пересек улицу и пошел вслед за ними. Он долго шел так. Шел и смотрел им в спины. На молодом человеке красиво струился белый дорогой плащ. Парень был высокий.

Сердце у Леньки так сильно колотилось, что он остановился и с минуту ждал, когда оно немного успокоится. Но оно никак не успокаивалось. Тогда Ленька перешел на другую сторону улицы, обогнал Тамару и парня, снова пересек улицу и пошел им навстречу. Он не понимал, зачем это делает. Во рту у него пересохло. Он шел и смотрел на Тамару. Шел медленно и слышал, как больно колотится сердце.

Тамара все смеялась. Потом увидела Леньку. Ленька заметил, как она замедлила шаг и прижалась к парню... и растерянно и быстро посмотрела на него, на парня. А тот рассказывал. Ленька даже расслышал несколько слов: «Совершенно гениально получилось...»

– Здравствуй...те! – громко сказал Ленька, останавливаясь перед ними. Правую руку он все еще держал в кармане.

– Здравствуйте, Леня, – ответила Тамара.

Ленька глотнул пересошим горлом, улыбнулся.

– А я к тебе шел...

– Я не могу, – сказала Тамара и, взглянув на Леньку, непонятно, незнакомо прищурилась.

Ленька сжал в кармане билеты. Он смотрел в глаза девушке. Глаза были совсем чужие.

– Что «не могу»? – спросил он.

– Господи! – негромко воскликнула Тамара, обращаясь к своему спутнику.

Ленька нагнул голову и пошел прямо на них.

Молодой человек посторонился.

– Нет, погоди... что это за тип? – произнес он, когда Ленька был уже далеко.

А Ленька шел и вслух негромко повторял:

– Так, так, так...

Он ни о чем не думал. Ему было очень стыдно.

Две недели жил он невыносимой жизнью. Хотел забыть Тамару – и не мог. Вспоминал ее походку, глаза, улыбку... Она снилась ночами: приходила к нему в общежитие, гладила его волосы и говорила: «Ты хороший. Ты мне очень нравишься, Леня». Ленька просыпался и до утра сидел около окна – слушал, как перекликаются далекие паровозы. Один раз стало так больно, что он закусил зубами угол подушки и заплакал – тихонько, чтобы не слышали товарищи по комнате.

Он бродил по городу в надежде встретить ее. Бродил каждый день – упорно и безнадежно. Но заставить себя пойти к ней не мог.

И как-то он увидел Тамару. Она шла по улице. Одна. Ленька чуть не вскрикнул – так больно подпрыгнуло сердце. Он догнал ее.

– Здравствуй, Тамара.

Тамара вскинула голову.

Ленька взял ее за руку, улыбнулся. У него опять высохло в горле.

– Тамара... Не сердись на меня... Измучился я весь... – Леньке хотелось зажмуриться от радости и страха.

Тамара не отняла руки. Смотрела на Леньку. Глаза у нее были усталые и виноватые. Они ласково потемнели.

– А я и не сержусь. Что ж ты не приходил? – Она засмеялась и отвела взгляд в сторону. Глаза у нее были до странного чужие и жалкие. – Ты обидчивый, оказывается.

Леньку как будто кто в грудь толкнул. Он отпустил ее руку. Ему стало неловко, тяжело.

– Пойдем в кино? – предложил он.

– Пойдем.

В кино Ленька опять держал руку Тамары и с удивлением думал: «Что же это такое?.. Как будто ее и нет рядом». Он опустил руку к себе на колено, облокотился на спинку переднего стула и стал смотреть на экран. Тамара взглянула на него и убрала руку с колена. Леньке стало жалко девушку. Никогда этого не было – чтобы жалко было. Он снова взял ее руку. Тамара покорно отдала. Ленька долго гладил теплые гладкие пальцы.

Фильм кончился.

– Интересная картина, – сказала Тамара.

– Да, – соврал Ленька: он не запомнил ни одного кадра. Ему было мучительно жалко Тамару. Особенно когда включили свет и он опять увидел ее глаза – вопросительные, чем-то обеспокоенные, очень жалкие глаза.

Из кино шли молча.

Ленька был доволен молчанием. Ему не хотелось говорить. Да и идти с Тамарой уже тоже не хотелось. Хотелось остаться одному.

– Ты чего такой скучный? – спросила Тамара.

– Так. – Ленька высвободил руку и стал закуривать.

Неожиданно Тамара сильно толкнула его в бок и побежала.

– Догони!

Ленька некоторое время слушал торопливый стук ее туфель, потом побежал тоже. Бежал и думал: «Это уж совсем... Для чего она так?»

Тамара остановилась. Улыбаясь, дышала глубоко и часто.

– Что? Не догнал!

Ленька увидел ее глаза. Опустил голову.

– Тамара, – сказал он вниз, глухо, – я больше не приду к тебе... Тяжело почему-то. Не сердись.

Тамара долго молчала. Глядела мимо Леньки на светлый край неба. Глаза у нее были сердитые.

– Ну и не надо, – сказала она наконец холодным голосом. И устало улыбнулась. – Подумаешь... – Она посмотрела ему в глаза и нехорошо прищурилась. – Подумаешь. – Повернулась и пошла прочь, сухо отщелкивая каблучками по асфальту.

Ленька закурил и пошел в обратную сторону, в общежитие. В груди было пусто и холодно. Было горько. Было очень горько.

Артист Федор Грай

Сельский кузнец Федор Грай играл в драмкружке «простых» людей.

Когда он выходил на клубную сцену, он заметно бледнел и говорил так тихо, что даже первые ряды плохо слышали. От напряжения у него под рубашкой вспухали тугие бугры мышц. Прежде чем сказать реплику, он долго смотрел на партнера, и была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему.

Руководитель драмкружка, суетливый малый, с конопатым неинтересным лицом, на репетициях кричал на Федора, произносил всякие ехидные слова – заставлял говорить громче. Федор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью... А когда выходил на сцену, все повторялось: Федор говорил негромко и смотрел на партнеров исподлобья. Режиссер за кулисами кусал губы и горько шептал:

– Верстак... Наковальня...

Когда Федор, отыграв свое, уходил со сцены, режиссер набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак:

– Где у тебя язык? Ну-ка покажи язык!.. Ведь он же у тебя...

Федор слушал и смотрел в сторону. Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его... И терпел. Только один раз он вышел из себя.

– Где у тебя язык?... – накинулся по обыкновению режиссер.

Федор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли.

– Больше не ори на меня, – негромко сказал Федор и отпустил режиссера.

Бледный руководитель не сразу обрел дар речи.

– Во-первых, я не ору, – сказал он, заикаясь. – Во-вторых: если не нравится здесь, можешь уходить. Тоже мне... герой-любownik.

– Еще вякни раз. – Федор смотрел на руководителя, как на партнера по сцене.

Тот не выдержал этого взгляда, пожал плечами и ушел. Больше он не кричал на Федора.

– А погромче, чуть погромче нельзя? – просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом.

Федор старался говорить громче.

Отец Федора, Емельян Спиридоныч, один раз пришел в клуб посмотреть сына. Посмотрел и ушел, никому не сказав ни слова. А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал:

– Хорошо играешь.

Федор слегка покраснел.

– Пьес хороших нету... Можно бы сыграть, – сказал он негромко.

Тяжело было произносить на сцене слова вроде: «сельхознаука», «незамедлительно», «в сущности говоря»... и т. п. Но еще труднее, просто невыносимо трудно и тошно говорить всякие «чаво», «куды», «евон», «ейный»... А режиссер требовал, чтобы говорили так, когда речь шла о «простых» людях.

– Ты же простой парень! – взволнованно объяснял он. – А как говорят простые люди?

Еще задолго до того, когда нужно было произносить какое-нибудь «теперича», Федор, на беду свою, чувствовал его впереди, всячески готовился не промямлить, не «съесть» его, но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел. Было ужасно стыдно.

– Стоп! – взвизгивал режиссер. – Я не слышал, что было сказано. Нести же надо слово! Еще раз. Активнее!

– Я не могу, – говорил Федор.

– Что не могу?

– Какое-то дурацкое слово... Кто так говорит?

– Да во-от же! Боже ты мой!.. – Режиссер вскакивал и совал ему под нос пьесу. – Видишь? Как тут говорят? Наверно, умнее тебя писал человек. «Так не говорят»... Это же художественный образ! Актер!..

Федор переживал неудачи как личное горе: мрачнел, замыкался, днем с ожесточением работал в кузнице, а вечером шел в клуб на репетицию.

...Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности.

Режиссер крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной «художественный образ».

– Да не так же!.. Боже ты мой! – кричал он, подлетая к Федору. – Не верю! Вот смотри. – Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы и входил развязной походкой в «кабинет председателя колхоза». Лицо у него делалось на редкость тупое.

– «Нам, то есть молодежи нашего села, Иван Петрович, необходимо нужен клуб... Чаво?»

Все вокруг смеялись и смотрели на режиссера с восхищением. Выдает!

А Федора охватывала глухая злоба и отчаяние. То, что делал режиссер, было, конечно, смешно, но совсем неверно. Федор не умел только этого сказать.

А режиссер, очень довольный произведенным эффектом, но всячески скрывая это, говорил деловым тоном:

– Вот так примерно, старик. Можешь делать по-своему. Копировать меня не надо. Но мне важен общий рисунок. Понимаешь?

Режиссер хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен. В своем районе его считали очень талантливым.

Федору же за все его режиссерские дешевые выходки хотелось дать ему в лоб, вообще выкинуть его отсюда. Он играл все равно по-своему. Раза два он перехватил взгляд режиссера, когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Федора: он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками, как бы желая сказать: «Ну, тут даже я бессилен».

Федор скрипел зубами, и терпел, и говорил «чаво?», но никто не смеялся.

В этой пьесе по ходу действия Федор должен был приходиться к председателю колхоза, махровому бюрократу и волокитчику, и требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне. Пьесу написал местный автор и, используя свое «знание жизни», сверх всякой меры наспиговал ее «народной речью»: «чаво», «туды», «сюды» так и сыпались из уст действующих лиц. Роль Федора сводилась, в сущности, к положению жалкого просителя, который говорил бесцветным, вялым языком и уходил ни с чем. Федор презирал человека, которого играл.

Наступил страшный день смотра.

В клубе было битком набито. В переднем ряду сидела мандатная комиссия.

Режиссер в репетиционной комнате умолял актеров:

– Голубчики, только не волнуйтесь! Все будет хорошо... Вот увидите: все будет отлично.

Федор сидел в сторонке, в углу, курил.

Перед самым началом режиссер подлетел к нему:

– Забудем все наши споры... Умоляю: погромче. Больше ничего не требуется...

– Пошел ты!.. – холодно вскипел Федор. Он уже не мог больше выносить этой бессонной пустоты и фальши в человеке. Она бесила его.

Режиссер испуганно посмотрел на него и отбежал к другим.

– ...Я уже не могу... – услышал Федор его слова.

Всякий раз, выходя на сцену, Федор чувствовал себя очень плохо: как будто провалился в большую гулкую яму. Он слышал стук собственного сердца. В груди становилось горячо и больно.

И на этот раз, ожидая за дверью сигнала «пошел», Федор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать.

В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссера. Тот беззвучно показывал губами: «громче».

Это решило все. Федор как-то странно вдруг успокоился, смело и просто ступил на залитую светом сцену.

Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель. Первые слова Федора по пьесе были: «Здравствуйте, Иван Петрович. А я все насчет клуба, ххе... Поймите, Иван Петрович, молодежь нашего села...» На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал: «Да не до клуба мне сейчас! Посевная срывается!»

Федор прошел к столу председателя, сел на стул.

– Когда клуб будет? – глухо спросил он.

Суфлер в своей будке громко зашептал:

– «Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович! А я все насчет...»

Федор ухом не повел.

– Когда клуб будет, я спрашиваю? – повторил он свой вопрос, прямо глядя в глаза партнеру; тот растерялся.

– Когда будет, тогда и будет, – буркнул он. – Не до клуба сейчас.

– Как это не до клуба?

– Как, как!.. Так. Чего ты?.. Явился тут – царь Горох! – Партнера тоже уже понесло напропалую. – Невелика птица – без клуба поживешь.

Федор положил тяжелую руку на председательские бумажки.

– Будет клуб или нет?!

– Не ори! Я тоже орать умею.

– «Наше комсомольское собрание постановило... Наше комсомольское собрание постановило...» – с отчаянием повторял суфлер.

– Вот что... – Федор встал. – Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь! Не выйдет! – Голос Федора зазвучал крепко и чисто. – Зарубите это себе на носу, председатель. Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб. Мы его заработали. Нам библиотека тоже нужна! Моду взяли бумажками отбояриваться... Я их видеть не хочу, эти бумажки! И дураком жить тоже не хочу!

Суфлер молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой.

Режиссер корчился за кулисами.

– Чего ты кричишь тут? – пытался остановить председатель Федора, но остановить его было невозможно; он незаметно для себя перешел на «ты» с председателем.

– Сидишь тут, как... ворона, глазами хлопаешь. Давно бы уже все было, если бы не такие вот... Сундук старорежимный! Пуп земли... Ты ноль без палочки – один-то, вот кто. А ломаешься, как дешевый пряник. Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь! – Федор ходил по кабинету – сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен.

В зале стояла тишина.

– Запомни мое слово: не начнешь строить клуб, поеду в район, в край... к черту на рога, но я тебя допеку. Ты у меня худой будешь.

– Выйди отсюда моментально! – взорвался председатель.

– Будет клуб или нет?

Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Федор не выйдет отсюда, пока не добьется своего.

– Я подумаю.

– Завтра подумаешь. Будет клуб?

– Ладно.

– Что ладно?

– Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то?.. – Председатель с тоской огляделся – искал режиссера, хотел хоть что-нибудь понять во всей этой тяжелой истории.

В зале засмеялись.

– Вот это другой разговор. Так всегда и отвечай. – Федор встал и пошел со сцены. – До свиданья. Спасибо за клуб!

В зале дружно захлопали.

Федор, ни на кого не глядя, прошел в актерскую комнату и стал переодеваться.

– Что ты натворил? – печально спросил его режиссер.

– Что? Не по-твоему? Ничего... Переживешь. Выйди отсюда – я штаны переодевать буду. Я стесняюсь тебя.

Федор переоделся и вышел из клуба, крепко хлопнув на прощанье дверью. Он решил порвать с искусством.

Через три дня сообщили результаты смотра: первое место среди участников художественной самодеятельности двадцати районов края завоевал кузнец Федор Грай.

– Кхм... Может, еще какой Федор Грай есть? – усомнился отец Федора.

– Нет. Я один Федор Грай, – тихо сказал Федор и побагровел. – А может, еще есть... Не знаю...

Воскресная тоска

Моя кровать – в углу, его – напротив. Между нами – стол, на столе – рукопись, толстая и глупая. Моя рукопись. Роман. Только что перечитал последнюю главу, и стало грустно: такая тягомотина, что уши вянут.

Теперь лежу и думаю: на каком основании вообще человек садится писать? Я, например. Меня же никто не просит.

Протягиваю руку к столу, вынимаю из пачки «беломорину», прикуриваю. С удовольствием затягиваюсь раза три кряду. Кто-то хорошо придумал – курить.

...Да, так на каком основании человек бросает все другие дела и садится писать? Почему хочется писать? Почему так сильно – до боли и беспокойства – хочется писать? Вспомнился мой друг Ванька Ермолаев, слесарь. Дожил человек до тридцати лет – не писал. Потом влюбился (судя по всему, крепко) и стал писать стихи.

– Кинь спички, – попросил Серега.

Я положил коробок спичек на стол, на краешек. Серега недовольно крякнул и, не вставая, потянулся за коробком.

– Муки слова, что ли? – спросил он.

Я молчу, продолжаю думать. Итак: хочется писать. А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает мне право рассказывать? Я знаю, как бывает в степи ранним летним утром: зеленый тихий рассвет. В низинах легкий, как дыхание, туман. Тихо. Можно лечь лицом в пахучую влажную траву, обнять землю и слушать, как в ее груди глубоко шевелится огромное сердце. Много понимаешь в такие минуты, и очень хочется жить. Я это знаю.

– Опять пепел на пол стряхиваешь! – строго заметил Серега.

Я свесился с кровати и сдул пепел под кровать. Серега сел на своего коня. Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях. Во-вторых, он правдивый до тошноты и любит хлопать своими длинными ручищами меня по спине. В-третьих, – это главное – он упрям, как напильник. Он полагает, что он очень практичный человек, и называет себя не иначе – реалистом. «Мы, реалисты...» – начинает он всегда и смотрит при этом сверху снисходительно и глупо, и массивная нижняя челюсть его подается вперед. В такие минуты я знаю, что ненавижу его.

– Отчего такая тоска бывает, романтик? Не знаешь? – спрашивает Серега безразличным тоном (не очень надеется, что я заговорю с ним). Сейчас он сядет на кровати, переломится пополам и будет тупо смотреть в пол. Надо поговорить с ним.

– Тоска? От глупости в основном. От недоразвитости. – Очень хочется как-нибудь уязвить этот телефонный столб. Нисколько он не практичный, и не холодный, и не трезвый. И тоски у него нету. Я все про него знаю.

– Неправда, – сказал Серега, садясь на койке и складываясь пополам. – Я заметил, глупые люди никогда не тоскуют.

– А тебе что, очень тоскливо?

– То есть... на белый свет смотреть тошно.

– Значит, ты – умница.

Пауза.

– Двадцать копеек с меня, – говорит Серега и смотрит на меня серыми правдивыми глазами, в которых ну ни намек на какую-то холодную, расчетливую мудрость. Глаза умные, в них постоянно светится мягкий ровный свет.

Может, и правда, что ему сейчас тоскливо, но зато уж и лелеет он ее и киснет как-то подчеркнуто. Смотреть на него сейчас неприятно. Он, наверное, напрашивается на спор, и, если в спор этот ввязаться, он будет до посинения доказывать, что искусство, стихи, осо-

бенно балет – все это никому не нужно. Кино – ничего, кино можно оставить, а всю остальную «бодягу» надо запретить, ибо это сбивает людей с толку, «расхолаживает» их. Коммунизм строят! Рассчитывают вот этим местом (постукивание пальцем по лбу) и строят! Мне не хочется сейчас говорить Сереге, что он придумал свою тоску, не хочется спорить с ним. Хочется думать про степь и про свой роман.

– Ох, и тоска же! – опять заныл Серега.

– Перестань, слушай.

– Что?

– Ничего. Противно.

– В твоём романе люди не тоскуют? Нет?

«Не буду спорить. Господи, дай терпения».

– У тебя, наверно, положительные герои стихами говорят. А по утрам все делают физзарядку. Делают зарядку?

«Не буду ругаться. Не буду».

– Песни, наверно, поют о спутниках, – продолжает Серега, глядя на меня злыми веселыми глазами. – Я бы за эти песенки, между прочим, четвертовал. Моду взяли! «Назначаю я свидание на Луне-е!..» – передразнил он кого-то. – Уже свиданье назначил! О! Да ты попади туда! Кто-то голову ломает – рассчитывает, а он уже там. Кретины!

Я молчу. Между прочим, насчет песенок – это он верно, пожалуй.

Серега тоже замолчал. Малость, наверно, легче стало.

Некоторое время у нас в комнате очень тихо. Я снова настраиваюсь на степь и на зори.

– Дай роман-то свой почитать, – говорит Серега.

– Пошел ты...

– Боишься критики?

– Только не твоей.

– Я ж читатель.

– Ты читатель?! Ты робот, а не читатель. Ты хоть одну художественную книгу дочитал до конца?

– Это ты зря, – обиделся Серега. – Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у вас положительные герои такие уж хорошие, что спиться можно.

– Почему?

– Потому что никогда таким хорошим не будешь все равно. – Серега поднялся и пошел к выходу. – Пройтись, что ль, малость.

Когда он вышел, я поднялся с койки и подсел к рукописи. Один положительный герой делал-таки у меня по утрам зарядку. Перечитал это место, и опять стало грустно. Плохо я пишу. Не только с физзарядкой плохо – все плохо. Какие-то бесконечные «шалые ветерки», какие-то жестяные слова про закат, про шелест листьев, про медовый запах с полей... А вчера только пришло на ум красивейшее сравнение, и я его даже записал: «Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре». Какие уж тут к черту патроны! Пуговицы какие-то, а не слова.

В комнату постучали.

– Да!

В дверь заглянула маленькая опрятная головка. Пара ясных глаз с припухшими со сна веками (еще только десять часов воскресного дня).

– Сережи... Здравствуйте! Сережи нету?

– Сережи нету. Он только что вышел куда-то.

– Извините, пожалуйста.

– Он придет скоро.

– Хорошо.

Сейчас у Сережи начнется праздник. Тоску его липовую как ветром сдует. Он любит эту маленькую опрятную головку, любит тихо, упорно и преданно. И не говорит ей об этом. А она какая-то странная: не понимает этого. Сидят часами вместе, делают расчет какого-нибудь узла двигателя внутреннего сгорания. Сережу седьмой пот прошибает – волнуется, оглобля такая. Не смотрит на девушку – ее зовут Лена, – орет, стучит огромным кулаком по конспекту.

– Какой здесь КПД?!

Леночка испуганно вздрагивает.

– Не кричи, Сережа.

– Как же не кричать?! Как же не кричать, когда тут элементарных вещей не понимают!

– Сережа, не кричи.

Серега будет талантливый инженер. В минуты отчаяния я завидую ему. К сорока годам это будет сильный, толковый командир производства. У него будет хорошая жена, вот эта самая Леночка с опрятной головкой. Я подозреваю, что она давно все понимает и сама тоже любит Серегу. Ей, такой хорошенькой, такой милой и слабенькой, нельзя не любить Серегу. У них будет все в порядке. У меня же... Меня, кажется, эти «шалые низовые ветерки» в гроб загонят раньше времени. Я обязательно проморгаю что-то хорошее в жизни.

Вошел Серега.

– Прошелся малость.

– К тебе эта приходила. Просила, чтоб ты зашел к ней.

– Кто?

– Лена. Кто!

Серега побагровел от шеи до лба.

– Зачем зайти?

– Не знаю.

– Ладно трепаться. – Он спокойно (спокойно!) прошел к койке, прилег.

Я тоже спокойно говорю:

– Как хочешь. – И склоняюсь к тетради. Меня душит злость. Все-таки нельзя быть таким безнадежным идиотом. Это уже не застенчивость, а болезнь.

– Дай закурить, – чуть охрипшим голосом просит Серега.

– Идиот!

Стало тихо.

– Вот так же тихо, наверно, стало, когда Иисус сказал своим ученикам: «Братцы, кто-то один из вас меня предал». – Когда Сереге нечего говорить, он шутит. Как правило, невпопад и некстати. – Дай закурить все-таки.

– Дождешься ты, Серега: подвернется какой-нибудь вьюн с гитарой – только и видел свою Леночку. Взвоешь потом.

Серега сел, обхватил себя руками. Долго молчал, глядя в пол.

– Ты советуешь сходить к ней? – тихо спросил он.

– Конечно, Серега! – Я прямо тронут его беспомощностью. – Конечно, сходить. На закури и иди.

Серега встал, закурил и стал ходить по комнате.

– Со стороны всегда легко советовать...

– Баба! Трус! Ты же пропадешь так, Серега.

– Ничего.

– Иди к ней.

– Сейчас пойду, чего ты привязался! Покурю – и пойду.

– Иди прямо с папироской. Женщинам нравится, когда при них курят. Я же знаю... Я писатель как-никак.

– Не говори со мной как с дураком. Пусть в твоих романах курят при женщинах. Острияк!

– Иди к ней, дура! Ведь упустишь девку. Сегодня воскресенье... Ничего тут такого нет, если ты зашел к девушке. Зашел и зашел, и все.

– Значит, она не просила, чтобы я зашел?

– Просила.

Сергеа посмотрел на меня подозрительным тоскливым взглядом.

– Я узнаю зайду.

– Узнай.

Сергеа вышел.

Я стал смотреть в окно. Хороший парень Серега. И она тоже хорошая. Она, конечно, не талантливый инженер, но... в конце концов, надо же кому-то и помогать талантливым инженерам. Оказалась бы она талантливой женщиной, развязала бы ему язык... Я представляю, как войдет сейчас к ним в комнату Серега. Поздоровается... и ляпнет что-нибудь вроде той шутки с Иисусом. Потом они выйдут на улицу и пойдут в сад. Если бы я описывал эту сцену, я бы, конечно, влил сюда и «шалый ветерок», и шелест листьев. Ничего же этого нет! Есть, конечно, но не в этом дело. Просто идут по аллейке двое: парень и девушка. Парень на редкость длинный и нескладный. Он молчит. Она тоже молчит, потому что он молчит. А он все молчит. Молчит как проклятый. Молчит, потому что у него отняли его логарифмы, КПД... Молчит, и все.

Потом девушка говорит:

– Пойдем на речку, Сережа.

– Мм. – Значит, да.

Пришли к речке, остановились. И опять молчат. Речечка течет себе по песочечку, пташки разные чирикают... Теплынь. В рощице у воды настоялся крепкий тополиный дух. И стоят два счастливейших на земле человека и томятся. Ждут чего-то.

Потом девушка заглянула парню в глаза, в самое сердце, обняла за шею... прильнула...

– Дай же я поцелую тебя! Терпения никакого нет, жердь ты моя бессловесная.

Меня эта картина начинает волновать. Я хожу по комнате, засунув руки в карманы, радуюсь. Я вижу, как Серега от счастья ошалело вытаращил глаза, неумело, неловко прижал к себе худенького, теплого родного человека с опрятной головкой и держит – не верит, что это правда. Радостно за него, за дурака. Эх... пусть простит меня мой любимый роман с «шалыми ветерками», пусть он простит меня! Напишу рассказ про Серегу и про Лену, про двух хороших людей, про их любовь хорошую.

Меня охватывает тупое странное ликование (как мне знакомо это предательское ликование). Я пишу. Время летит незаметно. Пишу! Может, завтра буду горько плакать над этими строками, обнаружив их постыдную беспомощность, но сегодня я счастлив не меньше Сереги.

Когда он приходит вечером, я уже дописываю последнюю страницу рассказа, где «он», счастливый и усталый, возвращается домой.

– Сережа, я про тебя рассказ написал. Хочешь прочитаю?

– Хм... Давай!

Мне некогда разглядывать Серегу, я не обращаю внимания на его настроение. Я ставлю точку в своем рассказе и начинаю читать.

Пока я читал, Серега не проронил ни одного слова – сидел на кровати, опустив голову. Смотрел в пол.

Я дочитал рассказ, отложил тетрадь и стал закуривать. Пальцы мои легонько тряслись. Я ждал, что скажет Серега. Я не смотрел на него. Я внимательно смотрел на коробок спичек.

Мне рассказ нравился. Я ждал, что скажет Серега. Я ему верю. А он все молчал. Я посмотрел на него и встретился с его веселым задумчивым взглядом.

– Ничего, – сказал он.

У меня отлегло от сердца. Я затараторил:

– Многое не угадал? Вы где были? На речке?

– Мы нигде не были.

– Как?..

– Так.

– Ты был у нее?

– Нет.

– О-о! А где ты был?

– А в планетарий прошелся... – Серега, чтобы не видеть моего глупого лица, прилег на подушку, закинул руки за голову. – Ничего рассказ, – еще раз сказал он. – Только не вздумай ей прочитать его.

– Сережа, ты почто не пошел к ней?

– Ну, почто, почто!.. По то... Дай закурить.

– На! Осел ты, Серега!

Серега закурил, достал из-под подушки журнал «Наука и жизнь» и углубился в чтение – он читает эти журналы, как хороший детективный роман, как «Шерлока Холмса».

Коленчатые валы

В самый разгар уборочной в колхозе «Заря коммунизма» вышли из строя две автомашины – полетели коленчатые валы. Шоферы второпях недосмотрели, залили в картеры грязное масло – шатунные вкладыши поплавились. Остальное доделали головки шатунов.

Запасных коленчатых валов в РТС не было, а ехать в областной сельхозснаб – потерять верных три дня.

Колхозный механик Сеня Громов, сухой маленький человек, налетел на шоферов соколом.

– До-дд-доигрались?! – Сеня заикался. – До-д-до-прыгались?!

Шоферы молчали. Один, сидя на крыле своей машины, курил с серьезным видом, второй – тоже с серьезным видом – протирал тряпкой побитые шейки коленчатых валов.

– По п-п-п-пятьдесят восьмой пойдете! Обои!.. – кричал Сеня.

– Сеня! – сказал председатель колхоза. – Ну что ты с этими лоботрясами разговариваешь?! Надо доставать валы.

– Гэ-г-где? – Сеня подбоченился и склонил голову набок. – Г-где?

– Это уж я не знаю. Тебе виднее.

– Великолепно. Тэ-т-т-тогда я вам рожу их. Дэ-д-двойняшку!

Шофер, который протирал тряпочкой израненный вал, хмыкнул и сочувственно заметил:

– Трудно тебе придется.

– Чего трудно? – повернулся к нему Сеня.

– Рожать-то. Они же гнутые, вон какие...

Сеня нехорошо прищурился и пошел к шоферу.

Тот поспешно встал и заговорил:

– Ты вот кричишь, Сеня, а чья обязанность, скажи, пожалуйста, масло проверить? Не твоя? Откуда я знаю, чего в этом масле?! Стоит масло – я заливаю.

Сеня достал из кармана грязный платок, вытер потное лицо.

Помолчали все четверо.

– Ты думаешь, у Каменного человека нет валов? – спросил председатель Сеню.

«Каменный человек» – это председатель соседнего колхоза Антипов Макар, великий молчун и скряга.

– Я с ним н-н-не хочу иметь ничего общего, – сказал Сеня.

– Хочешь не хочешь, а надо выходить из положения.

– Вэ-в-выйдешь тут...

– Надо, Семен.

Сеня повернулся и, ничего не сказав, пошел к стану тракторной бригады – там стоял его мотоцикл.

Через пятнадцать минут он подлетел к правлению соседнего колхоза. Прислонил мотоцикл к заборчику, молодецкато взбежал на крыльцо... и встретил в дверях Антипова. Тот собрался куда-то уезжать.

– Привет! – воскликнул Сеня. – А я к тебе... З-з-здорово!

Антипов молча подал руку и подозрительно посмотрел на Сеню.

– Кэ-к-как делишки? Жнем помаленьку? – затараторил Сеня.

– Жнем, – сказал Антипов.

– Мы тоже, понимаешь... фу-у! Дни-то!.. Золотые де-де-денечки стоят!

– Ты насчет чего? – спросил Антипов.

- Насчет валов. Пэ-п-п-подкинь пару.
- Нету. – Антипов легонько отстранил Сеню и пошел с крыльца.
- Слушай, мэ-м-монумент!.. – Сеня пошел следом за Антиповым. – Мы же к коммунизму п-подходим!.. Я же на общее дело... Дай два вала!!!
- Не ори, – спокойно сказал Антипов.
- Дай пару валов. Я же отдам... Макар!
- Нету.
- Кэ-к-кулак! – сказал Сеня, останавливаясь. – Кэ-к-когда будем переходить в коммунизм, я первый проголосую, чтобы тебя не брать.
- Осторожней, – посоветовал Антипов, залезая в «Победу». – Насчет кулаков – поосторожней.
- А кто же ты?
- Поехали, – сказал Антипов шоферу.
- «Победа» плавно тронулась с места и, переваливаясь на кочках, как гусыня, поплыла по улице.
- Сеня завел мотоцикл, догнал «Победу», крикнул Антипову:
- Поехал в райком!.. Жаловаться на тебя! Приготовь валы, штук пять! Мне, пэ-п-правда, только два надо, но попрошу пять – охота н-н-наказать тебя!
- Передавай привет в райкоме! – сказал Антипов.
- Сеня дал газку и обогнал «Победу».
- В приемной райкома партии былолюдно. Сидели на новеньких стульях с высокими спинками, ждали приема. Курили.
- Высокая дверь, обитая черной клеенкой, то и дело открывалась – выходили одни и тотчас, гася на ходу окурки, входили другие.
- Сеня сердито посмотрел на всех и сел на стул.
- Слишком много болтаете! – строго заметил он.
- Мягко хлопала дверь. Выходили из кабинета то радостные, то мрачные.
- Сеня закурил.
- С ним рядом сидел какой-то незнакомый мужчина городского вида, лысый, с большим желтым портфелем.
- Вы кэ-к-райний? – спросил его Сеня.
- Э... кажется, да, – как-то угодливо ответил мужчина.
- Сеня тотчас обнаглел.
- Я впереди вас п-п-пойду.
- Почему?
- У меня машины стоят. Вот почему.
- Пожалуйста.
- К Сене подсел цыгановатый мужик с буйной шевелюрой, хлопнул его по колену.
- Здорово, Сеня!
- Сеня поморщился, потер колено.
- Что за д-д-дурацкая привычка, слушай, руки распускать!
- Курчавый хохотнул, встал, поправил ремень гимнастерки. Посмотрел на дверь кабинета.
- Судьба решается, Сеня.
- Все насчет тех т-т-тракторов?
- Все насчет тех... Я сейчас скажу там несколько слов. – Курчавый заметно волновался. – Не было такого указания, чтобы закупку ограничивать.
- А куда вы столько нахватили? Стоят же они у вас.
- Нынче стоят, а завтра пойдут – расширим пашню...

– Н-н-ненормальные вы, – сказал Сеня. – Когда расширите, тогда и покупайте. Что их, солить, что ли!

– Тактика нужна, Сеня, – поучительно сказал курчавый. – Тактика.

Из кабинета вышли.

Курчавый кашлянул в ладонь, еще раз поправил гимнастерку, вошел в кабинет. И тотчас вышел обратно. Достал из кармана блокнот, вырвал из него лист и, склонившись, стал вытирать грязные сапоги.

Сеня хихикнул.

– Ну что?.. Сказал н-н-несколько слов? Или н-н-не успел?

– Ковров понастелили, – проворчал курчавый. Брезгливо взял двумя пальцами черный комочек и бросил в урну. Лысый гражданин пошевелился на стуле.

– Что, не в духе сегодня? – спросил он курчавого (он имел в виду секретаря райкома).

Курчавый ничего не сказал, вошел снова в кабинет.

– Не в духе, – сказал лысый, обращаясь к Сене. – Точно!

– Я сам не в духе, – ответил Сеня.

Чтобы не быть в кабинете многословным, Сеня заранее заготовил фразу: «Здравствуйте, Иван Васильевич. У нас прорыв: стали две машины. Нет валов. Валы есть у Антипова. Но Антипов не дает».

Секретарь сидел, склонившись над столом, смотрел на людей немигающими усталыми глазами, слушал, кивал головой, говорил прокуренным, густым голосом. Говорил негромко, коротко. Он измотался за уборочную, изнервничался. Скуластое, грубоватой работы лицо его осунулось, приобрело излишнюю жесткость.

– Здравствуйте, Иван Васильевич!

– Здорово. Садись. Что?

– П-п-п-прорыв... Два наших охламона залили в машины грязное масло... И, главное, у-у-убеждают, что это не их дело – масло п-п-проверить! – Сеня даже руками развел. – А чье же, м-м-милые вы мои? Мое, что ли? У меня их на шее пя-п-пятнадцать...

– Ну а что случилось-то?

– Валы полетели. Стоят две машины. А з-за... это... запасных валов нету.

– У меня тоже нету.

– У Антипова есть. Но он не дает. А в сельхозснаб сейчас ехать – вы ж понимаете...

– Так что ты хочешь-то?

– Позвоните Антипову, пусть он...

– Антипов меня пошлет к черту и будет прав.

– Не пошлет, – серьезно сказал Сеня. – Что вы!

– Ну, так я сам не хочу звонить. Что вам Антипов – снабженец? Как можно докатиться до того, чтобы ни одного вала в запасе не было? А? Чем же вы занимаетесь там?

Сеня молчал.

– Вот. – Секретарь положил огромную ладонь на стекло стола. – Где хотите, там и доставайте валы. Вечером мне доложите. Если машины будут стоять...

– Понятно. По-по-понял. До свиданья.

– До свиданья.

Сеня быстро вышел из кабинета. В приемной оглянулся на дверь и сердито воскликнул:

– Очень хо-хо-хорошо! – И потер ладони. – П-просто великолепно!

В приемной остался один лысый гражданин. Он сидел, не решаясь входить в кабинет.

– Пятый угол искали? – спросил он Сеню и улыбнулся; во рту его жарко вспыхнуло золото вставленных зубов.

Сеня грозно глянул на золотозубого. И вдруг его осенило: городской вид лысого, его гладкое бабье лицо, золотые зубы, а главное, желтый портфель – все это непонятным обра-

зом вызвало в воображении Сени чарующую картину заводского склада... Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат валы – огромное количество коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви. Прохладно и остро пахнет свежим маслом. Раз три за свою жизнь Сеня доставал запчасти помимо сельхознаба. И всякий раз содействовал этому какой-нибудь вот такой тип – с брюшком и с портфелем. Сеня подошел к золотозубому, хлопнул его грязной рукой по плечу.

– С-с-слушай, друг!.. – Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. – У тебя на авторемонтном в го-городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо! – Сеня чиркнул себя по горлу ребром маленькой темной ладони. – Литр ставлю.

Лысый снял с плеча Сенину руку.

– Я такими вещами не занимаюсь, товарищ, – строго сказал он. Потом деловито спросил: – Он сильно злой?

– Кто?

– Секретарь-то.

Сеня посмотрел в серые мутновато-наглые глаза лысого и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах.

– Н-н-не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя по-по... это... подожду здесь. Иди, не робей.

Лысый медленно поднялся, поправил галстук. Прошелся около двери, подумал. Быстренько снял галстук и сунул его в карман.

– Тактика нужна, тактика, – пояснил он Сене. – Правильно давеча твой друг говорил. – Откашлялся в ладонь, мелко постучал в дверь.

Дверь неожиданно распахнулась – на пороге стоял секретарь.

– Здравствуйте, товарищ первый секретарь, – негромко и торопливо сказал лысый. – Я по поводу алиментов.

Секретарь не разобрал, по какому поводу пришел лысый.

– Что?

– Насчет алиментов.

– Каких алиментов?..

Лысый снисходительно поморщился.

– Ну, с меня удерживают... Я считаю, несправедливо. Я вот здесь подробно, в письменной форме... – Он стал вынимать из желтого портфеля листы бумаги.

– Вот тут на улице, за углом, прокуратура, – показал секретарь, – туда.

Лысый стал вежливо объяснять:

– Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут... Я уже был там. Здесь нужен партийный подход... Я считаю, что так как у нас теперь установка на справедливость...

Секретарь устало прислонился спиной к дверному косяку.

– Идите к черту, слушайте!.. Или еще куда! Справедливость! Вот по справедливости и будете платить.

Лысый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал:

– Между прочим, Ленин так не разговаривал с народом. – Повернулся и пошел на выход совсем в другую сторону. – Все начисто забыли!

– Не туда, – сказал секретарь. – Вон выход-то!

Лысый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал, ни к кому не обращаясь:

– А кричим: «Коммунизм! Коммунизм!»

Секретарь проводил его взглядом, потом повернулся к Сене.

– Кто это, не знаешь?

Сеня пожал плечами.

– По-моему, это по-по-п-полезный человек.

– А ты чего сидишь тут?

– Я уже пошел, все. – Сеня встал и пошел за лысым.

Лысый шагал серединой улицы – большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце.

Сеня догнал его.

– Разволновался? – спросил он.

– А заелся ваш секретарь-то! – сказал лысый, глядя прямо перед собой. – Ох, заелся!

– Он за-за-за... это... зашился, а не заелся. Мы же го-го-горим со страшной силой! Нам весной еще т-т-три тыщи гектар подвалили... попробуй тут! Трудно же!

– Всем трудно, – сказал лысый. – У вас чайная далеко?

– Вот, рядом.

– Заелся, заелся ваш секретарь, – еще раз сказал лысый. – Трудно, конечно: такая власть в руках...

– У тебя на авторемонтном в го-го-го... – начал Сеня.

– У меня там приятель работает, – сказал лысый. – Завскладом. – И посмотрел сверху на Сеню.

Сеня даже остановился.

– Ми-ми-милый ты мой, ка-к-к... это... кровинушка ты моя! – Он ласково взял лысого за рукав. – Как тебя зовут, я все забываю?

Лысый подал ему руку.

– Евгений Иванович.

– Ев-в-ге-ге... Это... Женя, друг, выручи! Пару валов – хоть плачь!.. А? – Сеня улыбнулся. Глаза его засветились неожиданно мягким, добрым светом. – Д-д-две бутылки ставлю. – Сеня показал два черных пальца.

Лысый важно нахмурился.

– Тебе коленчатых, значит?

– Ко-ко-ко... Ага.

– Пару?

– Парочку, Женя!

– Можно будет.

Сеня зажмурился...

– В-в-в-великолепно! Махнем прямо сейчас? У меня мотоцикл. За час слетаем.

– Нет, сперва надо подкрепиться. – Женя погладил свой живот.

– Ла-ла-лады! – согласился Сеня. – Вот и чайнуха. Пять минут, эх, пять мину-ут!.. – пропел он, торопливо семеня рядом с огромным Женей. Потом спросил: – Ты сам, значит, городской?

– Был городской. Теперь в вашем районе ошиваюсь, в Соусканихе.

– Сразу видно, что го-го-го-городской, – тонко заметил Сеня.

– Почему видно?

– Очень ка-ка-к-красивый. На сцене, наверно, выступаешь? – Сеня погрозил ему пальцем и пощекотал в бок. – Ох, Женька!..

Женя густо хохотнул, потянулся рукой к груди: хотел поправить галстук, но вспомнил, что он в кармане, нахмурился.

– Бюрократ ваш секретарь, – сказал он. – Выступишь с такими...

– А ты где сам работаешь, Женя?

– По торговой.

– Хорошее дело, – похвалил Сеня.

Сели за угловой столик, за фикус.

Сеня обвел повеселевшими глазами пустой зал.

– Ну, кто там!.. Мы торопимся! По борщишку ударим? – спросил он Женю.

Женя выразительно посмотрел на него.

– Я лично устроил бы небольшой забег в ширину... С горя.

Сеня потрогал в раздумье лоб.

– Здесь?

– А где же еще?

– Это... вообще-то, тут нельзя...

– Везде нельзя! – громко и обиженно заметил лысый. – Знаешь, есть анекдот...

– Ну, ладно, я поговорю пойду...

Сеня встал и пошел к буфету. Долго что-то объяснял буфетчице, махал руками, но говорил вполголоса. Вернулся к лысому, достал из-под полы пиджака бутылку водки.

– Ка-ка-кагановая какая-то. Другой нету.

Женя быстренько налил полный стакан, хряпнул, перекосялся...

– Не пошла, сволочь!

Он налил еще полстакана и еще выпил.

– Ого! – сказал Сеня. – Ничего себе!

– От так. – На глазах у лысого выступили светлые слезы. – Выпьешь?

– Нет, мне нельзя.

– Правильно, – одобрил лысый.

Им принесли борщ и котлеты.

Начали есть.

– Борщ как помои, – сказал лысый.

Сеня с аппетитом хлебал борщ.

– Ничего борщишко, чего ты!

– До чего же мы кричать любим! – продолжал лысый, помешивая ложкой в тарелке. – Это ж медом нас не корми, дай только покричать.

– Насчет чего кричать? – спросил Сеня.

– Насчет всего. Кричим, требуем, а все без толку.

Лысый хлебнул еще две ложки, откинулся на спинку стула. Его как-то сразу развезло.

– Вот ты, например, – начал он издалика, – так называемый Сеня: ну на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны?

Сеня, не прожевав кусок, воскликнул:

– Я ему битый час т-т-толкую, а он!..

– Я говорю: тебе! Лично тебе!

– Нужны, Женя.

Лысый поморщился, оглянулся кругом, повалился грудью на стол и заговорил негромко:

– Жизни-то никакой нету!.. Никаких условий! Законов понаписали – во! – Лысый показал рукой высоко над полом. – А все ж без толку. Пшик.

– Как это п-п-пшик? – Сеня отложил ложку. – Какие законы?

– А всякие. Скажем, про алименты... – Лысый полез под стол за бутылкой, но Сеня перехватил ее раньше.

– Хватит, а то ты за-запьянеешь. Мы же за ва-валами поедем.

– Валы!.. – Лысого неудержимо вело. – Они небось на «Победах» разъезжают, командуют, а мы вкалываем, валы достаем. Алименты вычитать – это у них есть законы!.. Равенство!.. – Лысый говорил уже во весь голос.

Сеня внимательно слушал.

– Ешь! – зло сказал он. – Чего ты развякался-то?

– Не хочу есть, – капризно сказал лысый. – И в никакой коммунизм вообще я не верю. Понял?

– По-по-почему?

– Потому. – Лысый посмотрел на Сеню, пододвинул к себе тарелку и стал есть. – Тебе валы-то какие нужны? Коленчатые?

Сеня менялся на глазах – темнел.

– Почему, интересно, в коммунизм не веришь? – переспросил он.

– Ты только не ори, – сказал лысый. – Понял? От... А валы мы достанем.

– Вы-вы-вы... – Сеня показал рукой на дверь. – Выйди отсюда. Слышишь?!

– Чудак, – миролюбиво сказал лысый. – Чего ты разошелся?

Сеня грохнул кулаком по столу; один стакан подпрыгнул, упал на пол и раскололся.

Из кухни вышли повар и официантки.

...Сеня и лысый стояли друг против друга; лысый был на две головы выше Сени; Сеня смотрел на него снизу гневно, в упор.

– Ты не очень тут... понял? – Лысый трусливо посмотрел на официанток, усмехнулся. – От дает!..

Сеня толкнул его в мягкий живот.

– Кому сказано: выйди вон!

– Ты не толкайся! Ты не толкайся! А то я... Смотри у меня! – Лысый пошел к двери, Сеня – за ним. – Смотри у меня!

– Я тебя насквозь вижу, паразит!

– Дурак ты!

– Я т-т-те по-по-кажу...

Около двери лысый обернулся, ощерился и небожно ткнул пухлым кулаком Сеню в грудь. Прошипел:

– Прислужник несчастный! Оборот!

Сеня отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду.

Дверь с треском распахнулась. Лысый вылетел на крыльцо и стал быстро спускаться по ступенькам. Сеня успел догнать его и пнул в толстый зад.

– Де-де-де-атель вшивый!

– Вот тебе, а не валы! – крикнул снизу лысый. – Дурак неотесанный!

Лысый пустился тяжелой рысью по улице, оглянулся на бегу, показал Сене фигу.

Сеня крикнул ему вслед:

– Я на тебя в «Крокодил» на-на-напишу, зараза! Пе-пе-пережиток! Гад подколодный!

Лысый больше не оглядывался.

Сеня вернулся в чайную, расплатился с официанткой, спросил ее на всякий случай:

– У тебя на авторемонтном в го-го-городе никакого знакомого нету?

– Нет. Чего с лысым-то не поделили? – спросила официантка.

– Я на него в «Крокодил» на-н-напишу, – сказал Сеня, еще не остывший после бурной сцены. – Он в Соусканихе работает... Я его найду, гада!

На короткое мгновение в глазах Сени опять встала сказочная картина заводского склада с холодным мерцанием коленчатых валов на стеллажах – и пропала.

– А ни у кого тут из ваших в го-го-городе на авторемонтном нету знакомых?

– Откуда?!

Сеня завел мотоцикл и поехал к Макару Антипову. Маленькая цепкая фигурка на мотоцикле выражала собой одно несокрушимое стремление – добиться своего.

Антипова он нашел в полеводческой бригаде, в вагончике.

Макар сидел на самодельном, на скорую руку сколоченном стуле, пил чай из термоса.

– Макар!.. – с ходу начал Сеня. – Я здесь по-по-погибну, но без валов не уйду. Ты что, хочешь, чтобы я на тебя в «Крокодил» написал? Ты что...

– Спокойно, – сказал Макар. – Сбавь. В «Крокодил» – это вас надо, а не меня. – Он достал из кармана засаленный блокнот, нашел чистый лист, вырвал его и написал крупно:

«ЕГОР, ДАЙ ЕМУ ПАРУ ВАЛОВ, В ДОЛГ, КОНЕЧНО.

Антипов».

Сеня оторопел.

– С-с-пасибо, Макарушка!..

– Только жаловаться умеете, – сердито сказал Антипов. – Хозяева мне!.. Горе луковое!

– А-а! – Сеня сообразил, чья могучая рука вырвала у Макара валы. – Вот так, М-м-макар! А то ломался, по-по-понимаешь...

Макар продолжал пить чай из термоса.

Через час Сеня подлетел к двум своим машинам, начал отвязывать от багажника валы. Оба шофера засуетились около него.

– Сеня!.. Милая ты моя душа! Достал?

– Вечером умоешься – я тебя поцелую...

– Ло-ло-лоботрясы, – сердито сказал Сеня, – в «Крокодил» вот катануть на вас!.. – Вытер запыленное лицо фуражкой, сел на стерню, закурил. – Да-да-да... это... давайте живее!

Сельские жители

«А что, мама? Тряхни стариной – приезжай. Москву поглядишь и вообще. Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом – это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь».

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, задумалась.

– Зовет Павел-то к себе, – сказала она Шурке и поглядела на него поверх очков. (Шурка – внук бабки Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости.)

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами – поезжай, раз зовет.

– У тебя когда каникулы-то? – спросила бабка строго.

Шурка наострил уши.

– Какие? Зимние?

– Какие же еще, летние, что ль?

– С первого января. А что?

Бабка опять сделала губы трубочкой – задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце.

– А что? – еще раз спросил он.

– Ничего. Учи знай. – Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы.

Шурка подбежал к окну – посмотреть, куда она направилась.

У ворот бабка Маланья повстречала соседку и стала громко рассказывать:

– Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. «Приезжай, – говорит, – мама, шибко я по тебе соскучился».

Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал что, а бабка ей громко:

– Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видела еще, только по карточке. Да шибко уж страшно...

Около них остановились еще две бабы, потом еще одна подошла, потом еще... Скоро вокруг бабки Маланьи собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать:

– Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать...

Видно было, что все ей советуют ехать.

Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку – такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый.

Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала.

– Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу, хотя мне на старости лет...

– Привет! – сказал Шурка. – Кто же так телеграммы пишет?

– А как надо, по-твоему?

– Приедем. Точка. Или так: приедем после Нового года. Точка. Подпись: мама. Все. Бабка даже обиделась.

– В шестой класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку!

Шурка тоже обиделся.

– Пожалуйста, – сказал он. – Мы так, знаешь, на сколько напишем? Рублей на двадцать по старым деньгам.

Бабка сделала губы трубочкой, подумала.

– Ну, пиши так: сынок, я тут посоветовалась кое с кем...

Шурка отложил ручку.

– Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте на смех поднимут.

– Пиши, как тебе говорят! – приказала бабка. – Что я, для сына двадцать рублей пожалую?

Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге.

– Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями – все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько...

– На почте все равно переделают, – вставил Шурка.

– Пусть только попробуют!

– Ты и знать не будешь.

– Пиши дальше: мне, конечно, боязно маленько, но уж... ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень...

Шурка пропустил эти слова – насчет того, что он стал большой и послушный.

– Мне с ним не так боязно будет. Пока до свиданья, сынок. Я сама об вас шибко...

Шурка написал: «жутко».

– ...соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама.

– Посчитаем, – злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом: – Раз, два, три, четыре...

Бабка стояла за его спиной, ждала.

– Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят! Так? Множим шестьдесят на тридцать – одна тыща восемьсот? Так? Делим на сто – имеем восемнадцать... На двадцать с чем-то рублей! – торжественно объявил Шурка.

Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман.

– Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей.

– Пожалуйста. То же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся.

...Часов в одиннадцать к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах.

Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями сидящие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей.

– Значит, лететь хотите?

Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой.

– Лететь, Егор. Расскажи все по порядку – как и что.

– Так чего тут рассказывать-то? – Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. – Доедете до города, там сядете на Бийск – Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать...

– Ты погоди! Заладил: можно, можно. Ты говори как надо, а не как можно. Да помедленней. А то свалил все в кучу. – Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрела на него.

Егор потрогал стакан пальцами, погладил.

– Ну, доедете, значит, до Новосибирска и сразу спрашивайте, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка.

– Записывай, Шурка, – велела бабка.

Шурка вырвал из тетрадки чистый лист и стал записывать.

– Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на «Ту-104» и через пять часов в Москве будете, в столице нашей Родины.

Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо.

– В Свердловске, правда, сделаете посадку...

– Зачем?

– Надо. Там нас не спрашивают. Сажают, и все. – Егор решил, что теперь можно и выпить. – Ну?.. За легкую дорогу!

– Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтоб посадили, или там всех сажают?

Егор выпил, смачно крикнул, разгладил усы.

– Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу...

Бабка налила ему еще один стакан.

– Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет.

– Как это? – не понял Егор.

– Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердите стараетесь. Сахару больше кладите в хмелину-то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать – это стыдоба.

– Да, – задумчиво сказал Егор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. – Да-а, – еще раз сказал он. – Так-то оно так, конечно. Но в Новосибирске когда будете, смотрите не оплошайте.

– А что?

– Да так... Все может быть. – Егор достал кiset, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. – Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы. А то во Владивосток тоже можно улететь.

Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан. Егор сразу его выпил, крикнул и стал развивать свою мысль:

– Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит: «Мне билет». А куда билет – это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите.

Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк. Говорил с удовольствием:

– На самолете лететь – это надо нервы да нервы! Вот он поднимается – тебе сразу конфетку дают...

– Конфетку?

– А как же. Мол, забудься, не обращай внимания... А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят: «Привяжись ремнями». – «Зачем?» – «Так положено». Хэх... положено. Скажи прямо: можем навернуться, и все. А то – «положено».

– Господи, господи! – сказала бабка. – Так зачем же и лететь-то на нем, если так...

– Ну, волков бояться – в лес не ходить. – Егор посмотрел на четверть с пивом. – Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. Пропеллерный, тот может в любой момент сломаться – и пожалуйста... Потом, горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока... – Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. – Летим, значит, я смотрю в окно: горит...

– Свят, свят! – сказала бабка.

Шурка даже рот приоткрыл – слушал.

– Да. Ну я, конечно, закричал. Прибежал летчик... Ну, в общем, ничего – отmaterил меня. Чего ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди... Такие порядки в этой авиации.

Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку, а вместо этого он отругал Егора. Странно.

– Я одного не понимаю, – продолжал Егор, обращаясь к Шурке, – почему пассажирам парашютов не дают?

Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не даются парашюты. Это, конечно, странно, если это так.

Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, привстал, налил сам из четверти.

– Ну и пиво у тебя, Маланья!

– Ты шибко-то не налегай – захмелеешь.

– Пиво просто... – Егор покачал головой и выпил. – Кху! Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу... И костей потом не соберут. Триста грамм от человека остается. Вместе с одеждой. – Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть. Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.

– А вообще-то не бойтесь! – громко сказал он. – Садитесь только подальше от кабины – в хвост – и летите. Ну, пойду...

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку.

– Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! Просто...

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел, – не поговорили толком.

– Слабый ты какой-то стал, Егор.

– Устал, поэтому. – Егор снял с воротника полушубка соломинку. – Говорил нашим деятелям: давайте вывезем летом сено – нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все поза-несло. Весь день сегодня пластались, насилу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое... – Егор покачал головой, засмеялся. – Ну, пошел. Ничего, не робейте – летите. Садитесь только подальше от кабины. До свиданья.

– До свиданья, – сказал Шурка.

Егор вышел; слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой и на улице негромко запел:

Раскинулось море широко...

И замолчал.

Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.

– Страшно, Шурка, – сказала бабка.

– Летают же люди...

– Поедем лучше на поезде?

– На поезде – это как раз все мои каникулы на дорогу уйдут.

– Господи, господи! – вздохнула бабка. – Давай писать Павлу. А телеграмму анулируем.

Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.

– Значит, не полетим?

– Куда же лететь – страсть такая, батюшки мои! Соберут потом триста грамм...

Шурка задумался.

– Пиши: дорогой сынок Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми...

Шурка склонился к бумаге.

– Порассказали они нам, как летают на этих самолетах... А мы с Шуркой решили так: поедем уж летом на поезде. Оно, знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются...

Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать: «А теперь, дядя Паша, это я пишу от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт: он выплянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня – что это я вам написал – не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет, свиннота разная, куры, гуси – она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории, но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот вы ей и скажите: как же это так, мама, сын у вас сам летчик, Герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете! В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно – заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свиданья. С приветом – Александр». А бабка между тем диктовала:

– ...Поближе туда к осени поедем. Там и грибки пойдут, солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить, варенья сварить облепишного. В Москве-то ведь все с купли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал?

– Записал.

Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес:

«Москва, Ленинский проспект, д. 78, кв. 156.

Герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу.

От матери его из Сибири».

Адрес она всегда подписывала сама: знала, что так дойдет вернее.

– Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем.

– А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся: возьмешь да надумаешь лететь.

Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала.

Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то.

Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда.

– Шурк! – позвала бабка.

– А?

– Павла-то, наверно, в Кремль пускают?

– Наверно. А что?

– Побывать бы хоть разок там... посмотреть.

– Туда сейчас всех пускают.

Бабка некоторое время молчала.

– Так и пустили всех, – недоверчиво сказала она.

– Нам Николай Васильевич рассказывал.

Еще с минуту молчали.

- Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, – сказал Шурка недовольно. – Чего ты испугалась-то?
 - Спи знай, – приказала бабка. – Храбрец. Сам первый в штаны наложишь.
 - Спорим, что не испугаюсь?
 - Спи знай. А то завтра в школу опять не добудишься.
- Шурка затих.

Леля Селезнева с факультета журналистики

На реке Катунь, у деревни Талица, порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел.

Пора была страдная. В первые же три часа на той стороне реки скопилось машин двадцать с зерном. И подъезжали и подъезжали новые. И подстраивались в длинную вереницу «ЗИЛов», «ГАЗов»... В объезд до следующего парома было километров триста верных. Стояли. Ждали.

Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь, орал в телефон:

– А что я-то сделаю?! Ну!.. Да работает же бригада! А? Всех послал, конечно!.. А я-то что могу?! – Бросал трубку и горько возмущался: – Нет, до чего интересные люди!

Тут же, в сельсовете, сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот.

– Я с факультета журналистики, Леля Селезнева, – представилась она, когда пришла. – А сейчас я к вам из краевой газеты. Что вы предприняли как председатель сельсовета? Конкретно!

Замученный Трофимов посмотрел на нее, как на телефонный аппарат, закурил и сказал:

– Все предприняли, милая девушка.

Леля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курноса, с красивыми темными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке.

Трофимов все кричал в телефонную трубку. Леля строчила. Потом Трофимов вконец озверел, бросил трубку, встал, злой и жалкий.

– У меня будет такая просьба, – обратился он к Леле. – Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром – черт его душу знает.

Леля села к аппарату и стала ждать звонка. Телефон зазвонил скоро.

– Да, – спокойно сказала Леля. – Слушаю вас.

– Кто это?

– Это Талицкий сельсовет.

– Трофимова!

– Трофимов ушел на реку.

– Купаться, что ли? – Человек на том конце провода не был лишен юмора.

Леля обиделась.

– Между прочим, момент слишком серьезный, чтобы так дешево острить.

Человек некоторое время молчал.

– Кто это говорит?

– Это Леля Селезнева с факультета журналистики. С кем имею честь?

Человек на том конце положил трубку. Пока он нес ее от уха до рычажка, Леля услышала, как он сказал кому-то:

– Там факультет какой-то, а не сельсовет.

У Лели пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под названием «У семи нянек дитя без глазу». Еще в районе она узнала, что в Талице сорвало паром и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что талицкий паром обслуживают три района, и заменить старый трос, которым удерживался паром, новым никто, ни один из районов, не догадался.

Опять звонил телефон, Леля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя сельсовета Трофимова. «...Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и «выходят в коридор покурить».

Статья была злая. Леля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трех районов. Зато, когда она дошла до места, где несчастные шоферы, собравшись на той стороне у берега, «с немой тоской смотрят на неподвижный паром», у Лели на глаза навернулись слезы.

Телефон звонил и звонил.

Леля писала.

В сельсовет заглянула большая потная голова в очках.

– Где Трофимов?

– Ушел к парому.

– Я сейчас только с парома. Нету его там.

Голова с любопытством разглядывала девушку.

– Я извиняюсь, вы кто будете?

– Леля Селезнева с факультета журналистики.

– Корреспондентка?

– Да.

– Приятно познакомиться. – В комнату вошел весь человек, большой, толстый, в парусиновом белом костюме, протянул Леле большую потную руку. – Анашкин. Заместитель Трофимова.

– Что с паромом?

– С паромом-то? – Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причем так, что можно было понять: нашумели только, ничего особенного там не произошло. – Через часок сделают. Канат лопнул. Фу-у!.. Ну как, нравится вам у нас?

– Нравится. Значит, паром скоро сделают?

– Конечно. – Анашкин вопросительно посмотрел на Лелю. – Вы где остановились-то?

– Нигде пока.

– Так не годится, – категорично заявил Анашкин. – Пойдемте, я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас, грешных. Как вас, Леля?

– Леля.

– Леля... – Анашкин молодо поднялся с дивана. – Хотел дочь свою так назвать... но... жена на дыбошки стала. Красивое имя.

– Я не понимаю...

– Хочу устроить вас пока. Пойдемте ко мне, например... Посмотрите: понравится – живите сколько влезет.

– Я сейчас не могу. Вообще я хотела уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это. – Леля показала на блокнот.

– Понимаю, – сказал Анашкин. – Жду вас.

– До свиданья.

Анашкин вышел. Он понравился Леле.

Зазвонил телефон.

Леля взяла трубку.

– Слушаю вас.

– Я просил Талицу, – сердито сказал густой сильный голос.

– Это и есть Талица. Сельсовет.

– Где председатель ваш?

– Не знаю.

– Кто же знает? – Бас явно был не в духе.

Леле это не понравилось.

– Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?

– Кто это говорит? – пророкотал удивленный бас.

Леля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила:

– Это Леля Селезнева с факультета журналистики.

– Что же вы налетаете на старых знакомых, Леля с факультета? – Бас потеплел, и Леля узнала его: секретарь райкома партии Дорофских Федор Иванович. Это он три часа назад рассказал ей всю историю с паромом.

– Так что же там с паромом-то, Леля? – поинтересовался секретарь. – Вы там ближе теперь...

Леле сделалось очень хорошо оттого, что ее совершенно серьезно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района и что она ближе всех сейчас к месту происшествия. Леля даже мимолетно подумала, что надо будет узнать, давно ли Дорофских работает здесь секретарем и стоит ли его вставлять в разгромную статью.

– С паромом следующее: через час он будет готов! – выпалила Леля. – Там, оказывается, порвался канат...

– Да что вы? – Секретарь несказанно обрадовался. – Это серьезно, Леля? Милая вы моя!.. Вот спасибо-то!

– Не мне спасибо, а бригаде плотников.

– Ну, понятно! Вот напишите о ком! Ведь они почти чудо сотворили!..

– Да, – сказала Леля и положила трубку. Закрыла блокнот с недописанной статьей и вышла из сельсовета.

Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить ее немедленно, а главное, что паром скоро сделают, – все это повернуло ей мир другой стороной – светлой.

«Громить легко. Но это еще никогда по-настоящему не действовало на людей», – думала Леля.

...Бригада плотников, семь человек, работала на пароме уже девять часов подряд.

Когда Леля переправилась к ним на лодке, у них был перекур.

– Здравствуйте, товарищи! – громко и весело сказала Леля.

Днище и бок одного баркаса были проломлены: паром сидел, круто накренившись. Леля ступила на покатый настил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и необидно засмеялся.

– Поздравляю вас, товарищи! – прибавила Леля уже без веселости.

В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил:

– С чем, дочка?

– С окончанием работы. Я из областной газеты к вам. Хочу написать о вашем скромном подвиге...

Молодой здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурок в реку и весело сказал:

– Начинается! – И посмотрел на Лелю так, точно ждал, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке.

Леля растерянно смотрела на плотников.

– Нам до окончания-то еще оё-ёй сколько! Он еще пока на камушках сидит, – пояснил бригадир. – Его еще зашить надо, да выкачать водичку, да оттащить... Много работы.

– Как же... Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы.

– Кто сказал?

– Толстый такой... в сельсовете работает...

– Анашкин. – Плотники понимающе переглянулись.

Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина:

– Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так?.. А денюжки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится: боится – вспомнят. Ему это нежелательно.

Леля откинула со лба короткие волосы.

– Ему этот факт выйдет боком, – серьезно сказала она. – Сигаретка есть у кого-нибудь?

Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей.

– Махорки можно, – неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика бригадира, желая, видимо, понять: не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости?

Но бригадир молчал.

– Могу «Беломорканал» удружить, – сказал здоровенный парень, Митька Воронцов, с готовностью подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Леля выкинула что-нибудь совсем невиданное.

– Спасибо. – Леля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила и затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь.

– Давай, ребята, – негромко сказал бригадир, поднимаясь.

Леля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом.

Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались небольшими кучками у машин и разговаривали. Человек шесть наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер – пек картошку.

А далеко-далеко, за синим лесом, заходило огромное красное солнце.

Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке.

Леле стало грустно. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и в общем-то простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти столько-то часов, прежде чем паром наладят, значит, машины с хлебом – а что сделаешь? – будут стоять и ждать и шоферы будут собираться группами и рассказывать анекдоты. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдоты. В конце концов, все знают, что надо ждать. И смешно и глупо здесь суесться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался – вот и все. Жизнь на этом не остановилась. Те же шоферы, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвалы и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелегким дорогам, наверстывая по мере возможности упущенное. И не будут чувствовать себя героями, так же как сейчас не испытывают угрызений совести оттого, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоскою на паром.

Леля вспомнила секретаря Дорофских и то, как она ему говорила: «С паромом следующее...», и ее собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни. И все делают люди. А киснуть и хныкать – это легче всего. Это еще ни для кого не представлялось очень трудным. Все делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее.

Она поднялась и подошла к старику плотнику.

– Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?

– А? – Бригадир выпрямился. – Мало? Нет, тут больше не надо, пожалуй... Да и нету у нас их больше-то.

– Но ведь стоят машины-то! – тихо, с отчаянием сказала Леля. – Что же делать-то?

– Что делать?... Вот делаем.

– Когда вы думаете закончить?

– Завтра к обеду... – Старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки.

– Ну нет! – твердо сказала Леля. – Так не пойдет. Вы что?

– Что? – не понял старик.

– Товарищи! – обратилась Леля ко всем. – Товарищи, есть предложение: собрать коротенькое собрание! Пятиминутку. Я предлагаю... – продолжала Леля, – работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государству простой этих машин, но сами понимаете – много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи, скажу, чтобы вам принесли сюда ужин...

– Ну, это уж – привет! – сказал Митька Воронцов.

– Да неужели вы не понимаете! – Леля даже пристукнула каблучком по палубе. – А как было в войну – по две смены работали!.. Женщины работали! Вы видите, что делается? – Леля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос ее прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично, но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае, все посмотрели туда, куда она показала, – там стояли машины с хлебом.

– У нас на это начальство есть, – суховато сказал бригадир.

– Мы что, двуличные, что ли? – спросил Митька.

Он уже не ждал от девушки «фокусов», он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли нахмурившись.

– Товарищи!.. – опять начала Леля.

– Да что «товарищи»! – обозлился Митька. – Тебе ж сказали: не останемся... – Митьке позарез нужно было быть вечером в клубе.

– Эх, вы!.. – сказала Леля и неожиданно для себя заплакала. – Люди стоят, машины стоят... их ждут... а они... – говорила Леля, слезая с парома. Она вытирала ладошкой слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились: она очень устала сегодня, изнервничалась с этим паромом.

Плотники растерянно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отвязала лодку и, неумело загребая веслами, поплыла к берегу.

– Ты, Митька, балда все-таки, – сказал бригадир. – Дубина просто.

– Он шибко грамотный стал, – поддакнул один из плотников. – Вымахал с версту, а умишка ни на грош.

Митька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду – надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит-заплату. Остальные тоже молча взяли за топоры.

На берегу Лелю встретил председатель Трофимов.

– Чего они там? – встревожился он, увидев заплаканную Лелю. – Небось лаяться начали?

– Да нет! – Леля выпрыгнула из лодки. – Попросила их... В общем, ну их! – Леля хотела идти в деревню.

Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке.

– Поедем. Не переживай... Попросила остаться их?

– Да.

– Сейчас поговорим с ними... останутся. Я еще трех плотников нашел. К утру сделаем.

Леля посмотрела в усталые умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофты заплаканные глаза.

Трофимов подгреб к парому, первым влез на него, потом подал руку Леле.

Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю.

– Ну что тут? – спросил Трофимов.

– Ночь придется прихватить, – сказал старик, сворачивая папироску.

– Я еще троих вам подброшу. К утру надо сделать, черт его... – Председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кيسету бригадира.

Леля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать – теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лелю, на председателя, сказал:

– Это... Ну, ладно. – И пошел к своему месту.

– Ничего, – сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал.

Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался.

– Ты чего? – спросил бригадир. – Чего не вылезает-то? Обмерил?

– Обмерил, – сердито ответил Митька.

– Ну?

– Чего «ну»?

– Вылезай, чего ты!

– Да тут... труссы спали, заразы. Кха!..

Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку.

– Это тебя бог наказал, Митька.

Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться.

– Нашел?

– Найдешь... кхах...

– Значит, уплыли.

– Вот история-то! – сказал бригадир и оглянулся на Лелю.

– Я отвернусь, а он пусть вылезает, – предложила Леля.

– Митька!

– Ну!

– Она отвернется – лезь!

Митька вылез, надел брюки и взялся за топор.

Опять на пароме застучали восемь топоров, и стук их далеко разносился по реке.

К утру паром починили.

Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу.

На палубе сидели плотники, курили (бригаде нужно было сплавить разок на ту сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом). Кое-кто отмывался, доставая ведром воду, бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас, председатель (он оставался всю ночь на пароме) оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Леля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце.

На той стороне были стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые со сна, отсыревшие... Они громко зевали.

«Это было грандиозно! – начала писать Леля. – Двенадцать человек, вооружившись топорами...» Она зачеркнула «вооружившись», подумала и выбросила все начало. Написала так: «Это была удивительная ночь! Двенадцать человек работали, ни разу не передохнув...» Подумала, вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова: «Неповторимая, удивительная ночь! На отмели, на камнях, горит огромный костер, освещая трепетным светом большой паром. На пароме двенадцать человек...» Леля и этот лист бросила в реку.

Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов, те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед.

Леля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь – горластая, веселая – катилась дальше. Ночь осталась позади, и никому теперь нет до нее дела. Теперь важно как можно быстрее переправить машины.

Паром отчалил. Стало немного потише.

Леля вырвала из блокнота лист и написала:

«Федор Иванович! Виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт парома, но денежки эти куда-то сплыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью. *Леля Селезнева*».

Леля свернула листок треугольником, подписала: «Секретарю РК КПСС тов. Дорофских Ф. И.» – и отдала треугольник одному из шоферов.

– Вы ведь через райцентр поедете?

– Да.

– Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком.

– Давай.

Паром подплыл к берегу; стали съезжать машины. Опять гул, рев, крики...

А Леля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню, курила Митькин «Беломор» и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой.

Гринька Малюгин

Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый. Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь взад-вперед, медленно поглядывал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось.

– Меня же все жалеют! – говорил он, когда был подвыпивши, и стучал огромным кулаком себе в грудь, и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же девять орденов!»

Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем – он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с «молниями», намочит русский чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне – просто так, «бурлачить».

– Женился бы хоть, телеграф, – советовала ему мать.

– Стукнет тридцать – женюсь, – отвечал Гринька.

Гриньку очень любили как-нибудь называть: «земледав», «бы́ча», «телеграф», «морда»... И все как-то шло Гриньке.

Вот такая история приключилась однажды с Гринькой.

Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в девять, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище – это километрах в семнадцати от города, за горой.

День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся.

Бензохранилище – целый городок, строгий, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектара в два аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны – цилиндрические, круглые, квадратные.

Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться.

Часа через три только ему закатили в кузов бочки с бензином.

Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы.

И тут – никто потом не мог сказать, как это случилось, почему, – низенькую контору озарил вдруг яркий свет.

В конторе было человек шесть шоферов, две девушки за столами и толстый мужчина в очках (тоже сидел за столом). Он и оформлял бумаги.

Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели. Стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице:

– Пожар!

Шарахнули из конторы.

Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко.

Люди бежали от машин. Гринька тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек (тот, который оформлял бумаги), отбежав немного, остановился.

– Давайте брезент! Э-э! – заорал он. – Куда вы?! Успе-ем же!.. Э-э!..

– Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толстая! – крикнул кто-то из шоферов.

Несколько человек остановились. Остановился и Гринька.

– Сча-ас... Ох и будет! – слышался сзади чей-то голос.

– Добра пропадет сколько! – ответил другой.

Кто-то заматерился. Все ждали.

– Давайте брезент! – непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места.

– Уходи! – опять крикнули ему. – Вот ишак... Что тут брезентом сделаешь? Брезент...

Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине. Ни о чем не думал. В голове точно молотком били – мягко и больно: «Скорей! Скорей!» Видел, как впереди, над машиной, огромным винтом свивается белое пламя.

Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость – человеческий механизм сработал быстро и точно. Машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим.

Река была в полукилометре от хранилища: Гринька правил туда, к реке.

Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад. Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из мотора всю его мощь.

До берега осталось метров двадцать. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, стал левой на подножку. В кузов не глядел – там колотились бочки и тихо шумел огонь. Спине было жарко.

Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось метров пять. Упал. Слышал, как с лязгом грохотнули бочки. Взвыл мотор... Потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый стремительный столб огня. И стало тихо.

Гринька встал и тут же сел – в сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело.

– М-м... ногу сломал, – сказал Гринька самому себе.

К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал:

– Какого черта не прыгал, когда отъехал уже?! Направил бы ее и прыгал! Обязательно надо до инфаркта людей довести!

– Ногу сломал, – сказал Гринька.

– В герои лезут! Молокососы!.. – кричал толстый.

Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь.

– Ты что, спятил, что ли?

Толстый оттолкнул шофера. Снял очки, трубно высморкался. Сказал с нервной дрожью в голосе:

– Лежать теперь. Черти!

Гриньку подняли и понесли.

В палате, кроме Гриньки, было еще четверо мужчин. Один ходил с «самолетом», остальные лежали, задрав сверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки. Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил:

– Слышь!.. Неужели у тебя сердца нету?

– Нету, – спокойно отвечал ходячий.

– Эх!..

– Вот те и «эх». – Ходячий остановился против койки белобрысого. – Я отвяжу, а кто потом отвечать будет?

– Я.

– Ты... Я же и отвечу. Нужно мне это. Терпи! Мне, ты думаешь, не надоела тоже вот эта штука? Надоела.

– Ты же ходишь!.. Сравнил.

– И ты будешь.

– А чего ты просишь-то? – спросил Гринька белобрысого. (Гриньку только что перевели в эту палату.)

– Просит, чтоб я ему гири отвязал, – пояснил ходячий. – Дурней себя ищет. Так – ты полежишь и встанешь, а если я отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дите малое, честное слово.

– Не могу я больше! – заскулил белобрысый. – Я психически заболел: двадцать вторые сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду...

– Ори, – спокойно сказал ходячий.

– Ты что, тронулся, что ли? – спросил Гринька парня.

– Няня! – заорал тот.

– Как тебе не стыдно, Степан, – сказал с укоризной один из лежачих. – Ты же не один здесь.

– Я хочу книгу жалоб и предложений.

– Зачем она тебе?

– А чего они!.. Не могли умнее чего-нибудь придумать? Так, наверно, еще при царе лечили. Подвесили, как борова...

– Ты и есть боров, – сказал ходячий.

– Няня!

В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках (с бензохранилища, из конторы).

– Привет! – воскликнул он, увидев Гриньку. – А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь... Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фу-у! – Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати. Огляделся. – Ну и житье у вас, ребята!.. Лежи себе, плюй в потолок.

– Махнемся? – предложил мрачно белобрысый.

– Завтра махнемся.

– А-а!.. Нечего тогда вякать. А то сильно умные все.

– Ну как? – спросил мужчина Гриньку. – Ничего?

– Все в ажуре, – сказал Гринька.

– Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?

– А сам не знаю.

– Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил: сердце стало останавливаться, и все. Нервы у тебя крепкие, наверно.

– Я ж танкистом в армии был, – хвастливо сказал Гринька. – Вот попробуй пощекоти меня – хоть бы что. Попробуй!

– Хэх!.. Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило... Сколько лежать придется?

– Не знаю. Вон друг двадцать вторые сутки парится. С месяц, наверно.

– Перелом бедренной кости? – спросил белобрысый. – А два месяца не хочешь? «С месяц»... Быстрые все какие!

– Ну, привет тебе от наших ребят, – продолжал толстый. – Хотели прийти сюда – не пускают. Меня как профорга и то еле пропустили. Журналов вот тебе прислали... – Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. – Из газеты приходили, спрашивали про тебя... А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин, из Суртайки... Сказали, что придут сюда.

– Это ничего, – сказал Гринька самодовольно. – Я им тут речь скажу.

– Речь?.. Хэх!.. Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни – я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай!

– Ничего.

Профорг пожал Гриньке руку, сказал всем «до свиданья» и ушел.

– Ты что, герой, что ли? – спросил Гриньку белобрысый, когда за профоргом закрылась дверь.

Гринька некоторое время молчал.

– А вы разве ничего не слышали? – спросил он серьезно. – Должны же были по радио передавать.

– У меня наушники не работают. – Дитина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья.

Гринька еще немного помолчал. И ляпнул:

– Меня же на Луну запускали.

У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл.

– Нет, серьезно?

– Конечно. Кха! – Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, – как будто он нисколько не сомневался в этом.

– Врешь ведь? – негромко сказал белобрысый.

– Не веришь, не верь, – сказал Гринька. – Какой мне смысл врать?

– Ну и как же ты?

– Долетел до половины, и горючего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал – неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

– Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

– Трепло! – сказал белобрысый разочарованно. – Я думал, правда.

– Завидки берут, да? – спросил Гринька и стал смотреть журналы. – Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.

– А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? – спросил белобрысый.

– Затяжным.

– А кто это к тебе приходил сейчас? – спросил человек с «самолетом».

– Приходил-то? – Гринька перелистнул страничку журнала. – Генерал, дважды Герой Советского Союза. Он только не в форме – нельзя.

Человек с «самолетом» громко захохотал.

– Генерал?! Ха-ха-ха!.. Я ж его знаю! Он же ж на бензохранилище работает!

– Да? – спросил Гринька.

– Да!

– Так чего же ты тогда спрашиваешь, если знаешь?

Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные. Лежали и смеялись.

– Ой, мама родимая!.. Ой, кончаюсь!.. – стонал белобрысый.

Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор.

– В чем дело, больные?

– О-о!.. О-о!.. – Белобрысый только показывал на Гриньку – не мог произнести ничего членораздельно. – Гене... ха-ха-ха! Гене... хо-хо-хо!..

Смешливый старичок доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты.

И тотчас в палату вошла девушка лет двадцати трех. В брюках, накрашенная, с желтыми волосами – красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных.

– Здравствуйте, товарищи! – Смех потихоньку стал стихать.

– Здравсте! – сказал Гринька.

– Кто будет товарищ Малюгин?

– Я, – ответил Гринька и попытался привстать.

– Лежите, лежите, что вы! – воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. – Я вот здесь присяду. Можно?

– Боже мой! – сказал Гринька и опять попытался сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой плоской койки.

– Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами.

Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гриньку, то на девушку.

– Это можно, – сказал Гринька и мельком глянул на белобрысого.

Детина начал теперь икать.

– Как вы себя чувствуете? – спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот.

– Железно, – сказал Гринька.

Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гриньку. Гринька тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту.

– Для начала... такие... формальные вопросы: откуда родом, сколько лет, где учились...

– Значит, так... – начал Гринька, закуривая. – А потом я речь скажу. Ладно?

– Речь?

– Да.

– Ну... хорошо... Я могу потом записать. В другой раз.

– Значит, так: родом я из Суртайки – семьдесят пять километров отсюда. А вы сами откуда?

Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных; все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали. Белобрысый икал.

– Я из Ленинграда. А что?

– Видите ли, в чем дело, – заговорил Гринька, – я вам могу сказать следующее...

Белобрысый неудержимо икал.

– Выпей воды! – обозлился Гринька.

– Я только что пил – не помогает, – сказал белобрысый, сконфузившись.

– Значит, так... – продолжал Гринька, затягиваясь папироской. – О чем мы с вами говорили?

– Где вы учились?

– Я волнуюсь, – сказал Гринька (ему не хотелось говорить, что он окончил только пять классов). – Мне трудно говорить.

– Вот уж никогда бы не подумала! – воскликнула девушка. – Неужели вести горящую машину легче?

– Видите ли... – опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко – так, чтоб другие не слышали, доверчиво спросил: – Вообще-то в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишете, а мне стыдно будет потом перед людьми. «Вон, скажут, герой пошел!»

Девушка тихо засмеялась. А когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку.

– Нет, это ничего, можно.

Гринька приободрился.

- Вы замужем? – спросил он.
Девушка растерялась.
– Нет... А собственно, зачем?..
– Можно, я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают.
– Что я, виноват, что ли? – сказал белобрысый и опять икнул.
Девушку Гринькино предложение поставило в тупик.
– Понимаете... я должна этот материал сдать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки. Так?
– Так. – Гринька скис.
– Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе.
– Я понимаю.
– Где вы учились?
– В школе.
– Где, в Суртайке же?
– Так точно.
– Сколько классов кончили?
Гринька строго посмотрел на девушку.
– Пять, шестой коридор. Неженатый. Не судился еще. Все?
– Родители...
– Мать.
– Чем она занимается?
– На пенсии.
– Служили?
– Служил. В танковых войсках.
– Что вас заставило броситься к горящей машине?
– Дурость.
Девушка посмотрела на Гриньку.
– Конечно. Я же мог подорваться, – пояснил тот.
Девушка задумалась.
– Хорошо, я завтра приду к вам, – сказала она. – Только я не знаю... завтра приемный день?
– Приемный день в пятницу, – подсказал белобрысый.
– А мы сделаем! – напористо заговорил Гринька. – Тут доктор добрый такой старик, я его попрошу, он сделает. А? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет.
– Приду. – Девушка улыбнулась. – Обязательно приду. Принести чего-нибудь?
– Ничего не надо!
– Тут хорошо кормят, – опять вставил белобрысый. – Я уж на что – вон какой, и то мне хватает.
– Я какую-нибудь книжку интересную принесу.
– Книжку – это да, это можно. Желательно про любовь.
– Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?
Гринька мучительно задумался.
– Не знаю, – сказал он. И виновато посмотрел на девушку. – Вы сами напишите чего-нибудь, вы же умеете. Что-нибудь такое... – Гринька покрутил растопыренными пальцами.
– Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше – на цистерны. Да?
– Конечно!
Девушка записала.

– А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь? – спросил вдруг Гринька.
– Я как-нибудь сделаю.

В палату вошел доктор.

– Девушка, милая, сколько вы обещали пробыть? – спросил он.

– Все, доктор, ухажу. Еще два вопроса... Вас зовут Григорий?

– Малюгин Григорий Степаныч... – Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза. – Приди, а?

– Приду. – Девушка ободряюще улыбнулась. Оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: – Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?

– Хорошо. – Гринька ласково смотрел на девушку.

– До свиданья. Поправляйтесь. До свиданья, товарищи!

Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Гриньке:

– Как дела, герой?

– Лучше всех.

– Дай-ка твою ногу.

– Доктор, пусть она придет завтра, – попросил Гринька.

– Кто? – спросил доктор. – Корреспондентка? Пусть приходит. Влюбился, что ли?

– Не я, а она в меня.

Смешливый доктор опять засмеялся:

– Ну-ну... Пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу.

Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.

– Думаешь, она придет? – спросил белобрысый Гриньку.

– Придет, – уверенно сказал Гринька. – За мной не такие бегали.

– Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много, – начал рассказывать белобрысый, – так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему три часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. «Я, – говорит, – непьющий», то-се, – начал вилить.

Гринька смотрел в потолок, не слушал белобрысого. Думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.

– Слышь, друг! – окликнул его белобрысый.

– Спит, – сказал человек с «самолетом». – Не буди, не надо. Он на самом деле что-то совершил.

– Шебутной парень, – похвалил белобрысый. – В армии с такими хорошо.

Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги, потом действительно заснул.

И приснился ему такой сон.

Будто он в какой-то незнакомой избе – нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах – вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс».

Гринька, когда служил в армии, все три года учился танцевать ритмический вальс и так и не научился – не смог.

И вот будто пошел он по кругу, да так здорово пошел – у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что стоит она в толпе и смотрит на него.

Проснулся он оттого, что кто-то негромко позвал его:

– Гриньк...

Гринька открыл глаза – на кровати сидит мать, вытирает концом полушалка слезы.

– Ты как тут? – удивился Гринька.

– Сказали мне... в сельсовете. Как же это получилось-то, сынок?

– Ерунда, не плачь. Срастется.

– И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто небось не побежал...

– Ладно, – негромко перебил Гринька. – Начинается.

Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног.

– Привезла тут тебе... Ешь хоть теперь больше. Господи, господа, что за наказание такое! Что-нибудь да не так. – Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: – Деньжонок-то нисколько не дали?

Гринька сморщился, тоже мельком глянул на товарищей и тоже негромко сказал:

– Ты чо? Ненормальная какая-то...

– Лежи, лежи... нормальный! – обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанежки и пирожки. – Изба-то завалится скоро... Нормальный!..

– Все, на эту тему больше не реагирую, – отрезал Гринька.

На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок». Подпись: «А. Сильченко».

Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку.

– Не в этом же дело, – проворчал он.

А. Сильченко не пришла. Гринька ждал ее два дня, потом понял: не придет.

– Не уважаю стилиг, – сказал он белокрысому.

Тот поддакнул:

– Я их вообще не перевариваю.

Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину:

– Стихи любишь?

– Нет, – признался тот.

– Надо любить, – посоветовал Гринька. – Вот слушай:

Мечтал ли в жизни я когда
Стать стихотворцем и поэтом;
Двадцать пять лет из-под пера не шла строка,
А вот сейчас пишу куплеты.

Белокрысый слушал нахмурившись.

– Ну как? – спросил Гринька.

– Ничего, – похвалил детина. – Это кому ты?

Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок.

– Поэму буду сочинять, – сказал он. – Про свою жизнь. Все равно делать нечего.

Классный водитель

Весной, в начале сева, в Быстрынке появился новый парень – шофер Пашка Холманский. Сухой, жилистый, легкий на ногу. С круглыми изжелта-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый. Смахивал на какую-то птицу.

Пашка был родом из кержаков, откуда-то с верхних сел по Катуні, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого кержацкого уклада.

В Быстринку он попал так.

Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном «газике». Посреди дороги у них лопнула рессора. Прохоров, всласть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья, полуторка, притормозила. Шофер откинул дверцу.

– Куда?

– До Быстринки.

– А Салтон – это дальше или ближе?

– Малость ближе. А что?

– Садись до Салтона. Дорогу покажешь.

– Поехали.

Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья; правая рука – на штурвале, левая – локтем – на дверце кабины. Смотрел вперед, на дорогу, задумчиво шурился.

Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера: тот сидел как ни в чем не бывало, шурился.

– Ты еще головы никогда не ломал? – спросил Прохоров.

– А?.. Ничего. Не трус, дядя. Главное в авиации что? – улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая.

– Главное в авиации – не трепаться, по-моему.

– Нет, не то. – Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит.

Прохоров стиснул зубы и отвернулся.

В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на шофера.

– Ты!.. Авиатор!

Парень опять улыбнулся.

– Уважаю скорость, – признался он.

Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню: парень чем-то нравился ему.

– Ты в Салтон зачем едешь?

– В командировку.

– На сев, что ли?

– Да... помочь мужичкам надо.

Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз.

– В сам Салтон или в район?

– В район. Деревня Листвянка... Хорошие места тут у вас.

– Тебя как зовут-то?

– Меня-то? Павлом. Павел Егорыч.

– Тезки с тобой, – сказал Прохоров. – Я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч?

– То есть как?

– Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка – это дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня...

– Что-то не понимаю: у меня же в командировке сказано...

– Да какая тебе разница?! Я тебе дам такой же документ... что ты отработал на посевной – все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. А?

– Клуб есть? – спросил Пашка.

– Клуб? Ну как же!

– Сфотографировано.

– Что?

– Согласен, говорю! Пирамидон.

Прохоров заискивающе посмеялся.

– Шутник ты... (Один лишний шофер да еще с машиной на посевной – это пирамидон, да еще какой!) Шутник ты, Егорыч.

– Стараюсь. Значит, клубишко имеется?

– Имеется, Паша. Вот такой клуб – бывшая церковь!

– Помолимся, – сказал Пашка.

Оба – Прохоров и Пашка – засмеялись. Так попал Павел Егорыч в Быстрянку. Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами.

– Жена должна чувствовать! – утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной.

– Правильно, Егорыч, – поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. – Что это за жена, которая не чувствует?

– Если я прихожу домой, – продолжал Пашка, – так? – усталый, грязный – то, се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например: «Здорово, Маруся!» Она мне весело: «Здорово, Павлик! Ты устал?»

– А если она сама, бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье возьмется? – замечала хозяйка.

– Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю: пирамидон. И меня потянет к другим. Верно, Егорыч?

– Абсолютно! – поддакивал Прохоров.

Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками.

В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно-веселый, яркий: в бордовой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хmeliной завивался чуб.

– Как здесь население... ничего? – равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих: хотел знать, какое он произвел впечатление на «местное население».

– Ничего, – ответил парень.

– А ты, например, чего такой кислый?

– А ты кто такой, чтобы допрос устраивать? – обиделся парень.

Пашка миролюбиво оскалился.

– Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить.

– Смотри, как бы тебе самому не навели тут.

– Ничего. – Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале.

Его тоже рассматривали.

Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки.

Танец кончился. Пары расходились по местам.

– Что за дивчина? – спросил Пашка у того же парня: он увидел Настю Платонову, местную красавицу.

Парень не захотел с ним разговаривать, отошел. Заиграли вальс.

Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал:

– Предлагаю на тур вальса!

Все подивились изысканности Пашки; на него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом.

Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо; Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку.

Закружились.

Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка с ходу начал выделять такого черта, что некоторые даже перестали танцевать – смотрели на него. Он то отпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился... Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше «местного населения» с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение – покажу кое-что. Умел когда-то».

Настя покраснелась, ходила все так же медленно, плавно.

– Ну и трепач ты! – весело сказала она, глядя в глаза Пашке.

Пашка ухом не повел.

– Откуда ты такой?

– Из Москвы, – небрежно бросил Пашка.

– Все у вас там такие?

– Какие?

– Такие... воображалы.

– Ваша серость меня удивляет, – сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.

Настя тихо засмеялась. Пашка был серьезен.

– Вы мне нравитесь, – сказал он. – Я такой идеал давно искал.

– Быстрый ты. – Настя в упор посмотрела на Пашку.

– Я на полном серьезе!

– Ну и что?

– Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились?

Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания.

Вальс кончился.

Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе.

Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда.

– Тут поблизости забегаловки нигде нету? – спросил он, подходя к группе курящих.

Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо.

– Вы что, языки проглотили?

– Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил? – спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца.

– Нет, не кажется.

– А мне кажется.

– Крестись, если кажется.

Парень нехорошо прищурился.

– Выйдем на пару минут... потолкуем?

Пашка отрицательно качнул головой:

– Не могу.

– Почему?

– Накостыляете сейчас ни за что... Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились.

Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурки. Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился.

– Посмотрим, кто кого сфотографирует, – сказал он и поправил фуражку. – Где он?

– Кто?

– Инженеришка.

– Его нету сегодня.

– Я интеллигентов одной левой делаю.

Танго кончилось.

Пашка прошел к Насте.

– Вы мне не ответили на один вопрос.

– На какой вопрос?

– Я вас провожаю сегодня до хаты?

– Я одна дойду. Спасибо.

Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно.

– Поговорим, как желтмены.

– Боже мой, – вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала.

Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба.

На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего: попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагональные синие галифе, бостонский пиджак – и появился в здешней библиотеке (Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал).

– Здравствуйте! – солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой и избой-читальней одновременно.

В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел «Огонек».

Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.

Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги – на Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с «Огоньком» и есть тот самый инженер, жених Насти.

– Почитать что-нибудь? – спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее.

– Да, надо, знаете...

– Что хотите? – Настя невольно перешла на «вы».

– «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал.

Парень отложил «Огонек» и посмотрел на Пашку.

Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех.

– Как ваша фамилия?

– Холманский Павел Егорыч. Год рождения тысяча девятьсот тридцать пятый, водитель-механик второго класса.

Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно, искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и... подмигнул ему.

– Кроссвордами занимаемся?

Инженер не сразу нашелся что ответить.

– Да... А вы, я смотрю, глубже берете.

– Между прочим, Гена, он тоже из Москвы, – сказала Настя.

– Ну?! – Гена искренне обрадовался. – Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового.

Пашка излишне долго расписывался в карточке. Молчал.

– Спасибо, – сказал он Насте. Подошел к столу, швырнул толстый том, протянул Гене руку. – Павел Егорыч.

– Гена. Очень рад!

– Москва-то? – переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. – Шумит Москва, шумит... – И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил: – Люблю смешные журналы! Особенно про алкоголиков – так разрисуют всегда...

– Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?

– Из Москвы-то? – Пашка перелистнул страничку журнала. – А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала.

– Вы же мне вчера в клубе сами говорили! – изумилась Настя.

Пашка глянул на нее.

– Что-то не помню.

Настя посмотрела на Гену, Гена – на Пашку. Пашка разглядывал картинки.

– Странно, – сказала Настя. – Значит, мне приснилось.

– Бывает, – согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. – Вот пожалуйста – очковтиратель, – сказал он, подавая журнал Гене. – Кошмар!

Гена улыбнулся.

– Вы на посевную к нам?

– Так точно. – Пашка оглянулся на Настю: та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это. – Сыграем в пешки? – предложил он инженеру.

– В пешки? – удивился инженер. – Может, в шахматы?

– В шахматы скучно, – сказал Пашка (он не умел в шахматы). – Думать надо. А в пешечки – раз, два – и готово.

– Можно и в пешки, – согласился Гена и посмотрел на Настю.

Настя вышла из-за перегородки и под села к ним.

– За фук берем? – спросил Пашка.

– Как это?

– За то, что человек прозеваает, когда ему надо рубить, берут пешку, – пояснила Настя.

– А-а... Можно брать. Берем.

Пашка быстренько расставил шашки на доске. Взял две, спрятал за спиной.

– В какой?

– В левой.

– Ваша не пляшет. – Ходил первым Пашка. – Сделаем так, – начал он, устроившись удобнее на стуле; выражение его лица было довольное и хитрое. – Здесь курить, конечно, нельзя? – спросил он Настю.

– Нет, конечно.

– По – что? – нятно! – Пашка пошел второй. – Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы.

Инженер играл слабо, это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого:

– погоди! Ну так же нельзя, слушай... зачем же подсказывать?

– Ты же неверно ходишь!

– Ну и что! Играю-то я.

– Учиться надо.

Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро.

– Вон той, Гена, крайней, – опять не стерпела Настя.

– Нет, я не могу так! – возмутился Гена. – Я сам только что хотел этой, а теперь не пойду принципиально.

– А чего ты волнуешься-то? Вот чудак!

– Как же мне не волноваться?

– Волноваться вредно, – встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте.

Настя покраснела.

– Ну и проиграешь сейчас! Принципиально.

– Нет, зачем?... Тут еще полно шансов сфотографировать меня, – снисходительно сказал Пашка. – Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить.

– Теперь проиграл, – с досадой сказала Настя.

– Занимайся своим делом! – обиделся Гена. – Нельзя же так, в самом деле. Отойди!

– А еще инженер. – Настя встала и пошла к своему месту.

– Это уже... неостроумно. При чем тут инженер-то?

– «Боюсь ему понравиться-а», – запела Настя и ушла в глубь библиотеки.

– Женский пол, – к чему-то сказал Пашка.

Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом:

– Я проиграл.

– Выйдем, покурим? – предложил Пашка.

– Пойдем.

В сенях, закуривая, инженер признался:

– Не понимаю: что за натура? Во все обязательно вмешивается.

– Ничего, – неопределенно сказал Пашка. – Давно здесь?

– Что?

– Я, мол, давно здесь живешь-то?

– Живу-то? Второй месяц.

– Жениться хочешь?

Инженер с удивлением глянул на Пашку.

– На ней? Да. А что?

– Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?

Инженер вконец растерялся.

– Любит?... По-моему, да.

Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил:

– Ты «Капитал» действительно читаешь?

– Нет, конечно. – Пашка небрежно прихватил губами сигаретку – в уголок рта, сощурился, заложил ладони за пояс, коротким, быстрым движением расправил рубаху. – Может, в кинишко сходим?

– А что сегодня?

– Говорят, комедия какая-то.

– Можно.

– Только это... пригласи ее... – Пашка кивнул на дверь библиотеки, нахмурился участливо.

– Ну а как же! – тоже серьезно сказал инженер. – Я сейчас зайду к ней... поговорю...

– Давай, давай!

Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу.

...В кино сидели вместе все трое. Настя – между инженером и Пашкой.

Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте и взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка как ни в чем не бывало стал смотреть на экран. Посмотрел минут десять и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо:

– Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб.

Пашка моментально убрал руку.

Посидел еще минут пять. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал:

– У меня сердце разрывается, как осколочная граната.

Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене:

– Дай я пересяду на твое место.

– Загораживают, да? Эй, товарищ, убери свою голову! – распорядился Пашка.

Впереди сидящий товарищ «убрал» голову.

– Теперь ничего?

– Ничего, – сказала Настя.

В зале было шумно. То и дело громко смеялись.

Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закурчавились синие облачка. Настя толкнула его в бок:

– Ты что?

Пашка погасил папироску... Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене:

– Пусть эту комедию тигры смотрят.

На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил. Медленно пошел домой.

Дома, не раздеваясь, прилег на кровать.

– Ты чего такой грустный? – спросил Ермолай.

– Да так... – сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: – Интересно, сейчас женщин воруют или нет?

– Как это? – не понял Ермолай.

– Ну как раньше... Раньше ведь воровали?

– А-а! Черт его знает! А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады, без воровства.

– Это конечно. Я так просто, – согласился Пашка. Еще немного помолчал. – И статьи, конечно, за это никакой нет?

– Наверно. Я не знаю, Павел.

Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал.

– «В жизни раз бывает восемна-адцать лет», – запел он вдруг. – Егорыч, на́ рубаху. Сэнк-ю!

– Чего вдруг?

– Так. – Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою. Постоял посреди комнаты, еще подумал. – Сфотографировано, Егорыч!

– Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть? – спросил Ермолай.

Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу.

Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало. Лаяли собаки. Тарахтел где-то движок.

Пашка пошел в РТС, где стояла его машина.

Во дворе РТС его окликнули.

– Свои, – сказал Пашка.

– Кто свои?

– Холманский.

– Командировочный, что ль?

– Ну.

В круг света вышел дедун сторож, в тулупе, с берданкой.

– Ехать, что ль?

– Ехать.

– Закурить имеется?

– Есть.

Закурили.

– Дождь, однако, ишо будет, – сказал дед и зевнул. – Спать клонит в дождь.

– А ты спи, – посоветовал Пашка.

– Нельзя. Я тут давеча соснул было, дак заехал этот...

Пашка прервал словоохотливого старика:

– Ладно, батя, я тороплюсь.

– Давай, давай. – Старик опять зевнул.

Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС.

Он знал, где живет Настя – у самой реки, над обрывом.

Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад.

Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет?

На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь.

Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил.

– Так, – негромко сказал он и потер ладонью грудь: он волновался.

Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцающие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось.

«Только бы собаки не было».

Он кашлянул, осторожно потряс забор – во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши.

«Ну, Пашка... или сейчас в лоб получишь, или...»

Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. Пахло погребом.

Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про восемнадцать лет, одну и ту же фразу: «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Он весь день сегодня пел эту песню.

Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и стал в простенке. Перевел дух.

«Одна она тут спит или нет?» – возник новый вопрос.

Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы: печка-голландка, дверь, кровать... Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову – Настя. Не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик.

Настя откинула крючки и раскрыла окно.

Из горницы пахнуло застойным сонным теплом.

– Ты что? – спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку – какой-то отчужденный.

«Неужели узнала?» – испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал.

Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь.

«Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубахе».

Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно.

– Додумался? – сказала Настя слегка потеплевшим голосом.

«Додумался, додумался, – думал Пашка. – Сейчас будет цирк».

– Ноги-то вытри, – сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом.

Пашка продолжал молчать. Обнял ее, теплую, мягкую. Так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесемка.

– Ох, – глубоко вздохнула Настя, – что ж ты делаешь? Шальной!..

Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей: она вдруг вывернулась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскивая выключатель.

«Все. Конец». Пашка приготовился к самому худшему: сейчас она закричит, прибежит ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну.

Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая.

Пашка ласково улыбнулся ей:

– Испугалась?

Настя схватила со стула юбку и стала надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину. И тотчас такую же – на правой.

Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели... У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту.

«Везет инженеру», – невольно подумал Пашка.

– Сейчас же убирайся отсюда! – негромко приказала Настя.

Пашка понял, что она не будет кричать – не из таких.

– Побеседуем, как желтмены, – заговорил Пашка, закуривая. – Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость. – Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свою мысль несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руки какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице – от окна к столу и обратно. – Я влюблен, так. Это факт, а не реклама. И я одного только не понимаю: чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, я могу легко стать Героем Социалистического Труда. Надо только сказать мне об этом. И все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся, и поедem со мной. Будем жить в городе. – Пашка остановился. Смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее, любил, как никого никогда в жизни еще не любил.

Она поняла это.

– Какой же ты дурак, парень, – грустно и просто сказала она. – Чего ты мелешь тут? – Она села на стул. – Натворил делов и еще философствует, ходит. Он любит!.. – Настя странно

как-то заморгала, отвернулась. Пашка понял: заплакала. – Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю? – Настя резко повернулась к нему – в глазах слезы.

Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял: никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так: как что чуть посерьезнее, поглубже – так не его.

– Чего ты плачешь?

– Да потому, что вы только о себе думаете... эгоисты несчастные! Он любит! – Она вытерла слезы. – Любишь, так уважай хоть немного, а не так...

– Что же я такого сделал? В окно залез – подумаешь! Ко всем лезят...

– Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже... весь высох от ревности.

Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался.

– Как уезжать? Куда? – Пашка понял, кто этот дурак.

– Куда... Спроси его!

Пашка нахмурился.

– На полном серьезе?

Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло.

– Собирайся! – приказал он.

Настя вскинула на него удивленные глаза.

– Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая.

– Сиди уж... не трепись!

– Послушайте, вы!.. Молодая, интересная... – Пашка приосанился. – Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит – не трепись?

– Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая...

– Наплевать. Одевайся. На кофту!

Пашка снял со спинки стула кофту, бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности. Пашка опять заходил по горнице.

– Из-за чего же это он приревновал? – спросил он не без самодовольства.

– Танцевали... ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. Он же дурак набитый.

– Что же ты не могла ему объяснить?

– Нужно мне объяснять! Никуда я не поеду.

Пашка остановился.

– Считаю до трех: раз, два... А то целоваться полезу!

– Я те полезу! Что ты ему скажешь?

– Я знаю что!

– А я к чему там?

– Надо.

– Да зачем?

– Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка.

Настя надела кофту, туфли.

– Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас...

Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу.

Полуторка ворчала на хозяина.

– Садись, ревушка-коровушка!.. Возись тут с вами по ночам.

Пашке эта новая неожиданная роль нравилась. Настя залезла в кабину.

– Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то?

– Где уж тут!.. С вами вперед прокиснешь, чем...

– Ну до чего ты, Павел...

– Что? – строго спросил Пашка.

- Ничего.
- То-то. – Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал.
- ...Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно.
- Кто это?
- Я.
- Кто я?

– Пашка. Павел Егорыч.

Инженер открыл дверь, пустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него. Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.

- Грустные стихи сочиняешь?
- Я не понимаю, слушай...
- Поймешь. – Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги. – Любишь Настю?
- Слушай!.. – Инженер начал краснеть.
- Любишь. Значит, так: иди води ее сюда – она в машине сидит.
- Где? В какой машине?
- На улице. Ко мне зря приревновал: мне с хорошими бабами не везет.

Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять некстати вспомнились надоевшие слова: «В жизни раз бывает...» В груди противно заболело.

Вошли инженер с Настей.

Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово.

- Все? – спросил он.
- Все, – ответил инженер.
- Настя улыбнулась.
- Вот так, – сердито сказал Пашка. – Будьте здоровы. – Он пошел к выходу.
- Куда ты? погоди!.. – запротестовал инженер. Пашка, не оглянувшись, вышел.

Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подsunул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно три дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виноват».

Пашке было грустно. Он непрерывно курил.

Пошел мелкий дождь.

У Игринева, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли две человеческие фигуры. Замахали руками. Пашка остановился.

Подбежали молоденький офицер с девушкой.

- До Салтона подбрось, пожалуйста! – Офицер был чем-то очень доволен.
- Садись!

Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали.

Пашка искоса разглядывал девушку – хорошенькая, белозубая, губки бантиком – прямо куколка! Но до Насти ей далеко.

- Куда это на ночь глядя? – спросил Пашка.
- В гости, – охотно откликнулась девушка. И высунулась из кабины – опять говорить со своим дружкой. – Саша? Саш!.. Как ты там?!
- В ажуре! – кричал из кузова лейтенант.
- Что, дня не хватает? – опять спросил Пашка.
- Что? – Девушка мельком глянула на него и опять: – Саша? Саш!..

– Все начисто повлюблялись, – проворчал Пашка. – С ума все посходили. – Он вспомнил опять Настю: совсем недавно она сидела с ним рядом – чужая. И эта чужая.

– Саша! Саш!..

«Саша! Саш! – съехидничал про себя Пашка. – Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас – вперед машины побежит».

– Я представляю, что там сейчас будет! – кричал из кузова Саша.

Девушка так и покатилась со смеху. «Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время», – сердито думал Пашка. Дождь припустил сильнее.

– Саша! Как ты там?!

– Порядок! На борту порядок!

– Скажи ему – там под баллоном брезент есть – пусть накроется, – сказал Пашка.

Девушка чуть не вывалилась из кабины.

– Саша! Саш!.. Там под баллоном какой-то брезент!.. Накройся!

– Хорошо! Спасибо!

– На здоровье, – сказал Пашка, закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.

Игнаха приехал

В начале августа в погожий день к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пинком распахнул ворота – в руках по чемодану, – остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело:

– Здорово, родня!

Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком:

– Неужели нельзя потише?.. Что за манера!

– Ничего-о, – загудел Игнатий, – сейчас увидишь, как обрадуются.

Из дому вышел квадратный старик с огромными руками. Тихо засмеялся и вытер рукавом глаза.

– Игнашка!.. – сказал он и пошел навстречу Игнатию.

Игнатий бросил чемоданы. Облапали друг друга, трижды – крест-накрест – поцеловались. Старик опять вытер глаза.

– Как надумал-то?

– Надумал.

– Сколько уж не был? Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь... В спину что-то вступило...

Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика.

– А это жена, что ли? – спросил наконец старик.

– Жена, – спохватился Игнатий. – Познакомься.

Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее.

– Люся.

– Ничего, – сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю.

– А?! – с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий.

– Пошли в дом, чего мы стоим тут! – Старик первым двинулся к дому.

– Как мне называть его? – тихо спросила Люся мужа.

Игнатий захохотал:

– Слышь, тять!.. Не знает, как называть тебя!

Старик тоже засмеялся:

– Отцом вроде довожусь... – Он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: – Мать, кто к нам приехал-то!

В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия – заплакала.

– Игнаша, сынок... приехал...

Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу.

– Шаль тебе привез... пуховую. А тебе, тять, сапоги. А Маруське – во!.. А это Ваське... Все тут живы-здоровы?

Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына – он все доставал и доставал из чемоданов.

– Все здоровы. Мать вон только... – Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. – Ничего товар... Васька изнасит. Мне уж теперь ни к чему такие.

– Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье. – Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. – Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас.

– Соскучился, так раньше бы приехал.

– Дела, тятя.

– Дела... – Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. – Какие уж там дела-то!..

– Ладно тебе, отец, – сказала мать. – Приехал – и то слава богу.

Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена...

– Ты говоришь: «Какие там дела!» – заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. – Как тебе объяснить? Вот мы, русские, крепкий ведь народишка! Посмотришь на другого – черт его знает!.. – Игнатий встал, прошелся по комнате. – В плечах сажень, грудь как у жеребца породистого, – силен! Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях – это боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее. – С последними словами Игнатий обратился к жене.

Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль – о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что, когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.

– ...Поэтому, тятя, как ты хошь думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного.

– Ладно, – согласился отец. Он слушал невнимательно. – Мать, где там у нас?.. В лавку пойду.

– погоди, – остановил его Игнатий. – Зачем в лавку?

Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям: чуть что – сразу в лавку. Зачем, спрашивается? Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол:

– На, деньги!

Отец обиженно приподнял косматые брови.

– Ты брось тут, Игнаха!.. Приехал в гости – значит, сиди помалкивай. Что, у нас своих денег нету?

Игнатий засмеялся:

– Ладно, понял. Ты все такой же, отец.

...Сидели за столом, выпивали.

Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было:

Зачем сидишь до полуночи
У растворенного окна,
Ох, зачем сидишь...

Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью:

– Кончается моя жизнь, Игнаха. Кончается! – Он ругнулся.

Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором:

– Тятя!

– А ты, Игнат, другой стал, – продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. – Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно.

Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи.

– Ты давеча вытащил мне сапоги... Спасибо, сынок! Хорошие сапоги...

– Не то говоришь, отец, – сказал Игнатий. – При чем тут сапоги?

– Не обессудь, если не так сказал, – я старый человек. Ладно, ничего. Васька скоро придет, брат твой... Здоровый он стал! Он тебя враз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки. Куда там!..

Игнатий засмеялся; к нему вернулась его необходимая веселая снисходительность.

– Посмотрим, посмотрим, тятя.

– Давай еще по маленькой? – предложил отец.

– Нет, – твердо сказал Игнатий.

– А! Вот муж какой у тебя! – не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. – Наша порода – Байкаловы. Сказал «нет» – значит, все. Гроб! Я такой же был. Вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная...

– Ты, отец, разговорился что-то, – урезонила жена старика. – Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те чего мелет. Не слушайте вы его, брехуна.

– Ты лежи, мать, – беззлобно огрызнулся старик. – Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.

Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко.

Игнатий тоже встал. Завели патефон. Поставили «Грушицу».

Молчали. Слушали.

Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал.

Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом – не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня – думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло праздника? Сын приехал какой-то не такой. В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то.

Пришла Марья – рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной сдержанной улыбкой.

– Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! – забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. – Ведь ты же невеста уже!

– Будет тебе, – степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.

Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сощурившись.

– Сейчас Васька придет, – сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорей пришел его младший сын, он не знал.

Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску.

– Выпью с сестренкой, была не была!

– Давай, сынок, это ничего. Это полезно, – миролюбиво сказал отец.

Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кулками.

«Сейчас Васька придет», – ждал старик. Не было у него на душе праздника – и все тут.

Пришел наконец Васька – огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца, смотрел так же – вроде угрюмо, а глаза добрые.

– Игнашка приехал, – встретил его отец.

– Я уж слышал, – сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами.

Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился.

Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его:

– погоди, тятя, дай я хоть маленько ополоснусь. А то неудобно даже.

– Ну, давай, – согласился отец. – А то верно – он нарядный весь, как этот... как артист.

И тут из горницы вышел Игнатий с женой.

– Брательник! – заревел Игнатий, растопырив руки. – Васька! – И пошел на него.

Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу.

Игнатий обнял его.

– Замараю, слушай. – Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпустил.

– Ничего-о!.. Это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, окаянная душа! Соскучился без вас.

Братья поцеловались.

Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался.

– Он тебе подарки привез, Васька, – громко сказал отец, направляясь к чемоданам.

– Брось, тятя, какие подарки! Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот! Видела Байкаловых? – Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. – Знакомьтесь.

Васька покраснел пуще прежнего: не знал – подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала.

– Он у нас стеснительный, – пояснил отец.

Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся; он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца.

– Тятя... скажет тоже.

– Иди умывайся, – сказал отец.

– Да, пойду маленько... того...

Васька пошел в сени. Игнатий двинулся за ним.

– Пойдем, полую тебе по старой памяти!

Отец тоже вышел на улицу.

Умываться решили идти на Катунь – она протекала под боком, за огородами.

– Искупаемся? – предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди.

Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве.

– Ну как живете-то? – басил Игнатий, шагая вразвалку между отцом и братом.

Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся: не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату.

– Ничего.

– Хорошо живем! – воскликнул отец. – Не хуже городских.

– Ну и слава богу! – с чувством сказал Игнатий. – Василий, ты, говорят, нагулял тут силенку?

Василий опять засмеялся:

– Какая силенка!.. Скажешь тоже. Как ты-то живешь?

– Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо. Как жена моя вам? Тятя?

– Ничего. Я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего.

– Хорошая баба, – похвалил Игнатий. – Человек хороший.

– Шибко нарядная только. Зачем так?

Игнатий оглушительно захохотал.

– Обыкновенно одета! По-городскому, конечно. Поотстали вы в этом смысле.
– Чего-то ты много хохочешь, Игнат, – заметил старик. – Как дурак какой.
– Рад, поэтому смеюсь.
– Рад... Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?
– Ты когда жениться-то будешь, Васька? – спросил Игнатий.
– Он сперва в армию сходит, – сказал отец.
– Ты это... когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию, – посоветовал старший брат. – Я же так начал. Тренер толковый попадется – можешь вылезти.
Васька слушал, неопределенно улыбался.

Пришли к реке.

Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул.

– Мать честная! Вот это водичка.

– Что? – Васька тоже разделся. – Холодная?

– Ну-ка, ну-ка? – заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца.

Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, непрерывно поправляя трусы, посмеивался.

– Есть, – заключил Игнатий. – Давай попробуем?

– Да ну! – Васька недовольно тряхнул волосами.

– А чего, Васька? Поборись! – Отец с упреком смотрел на младшего.

– Бросьте вы, на самом деле, – упрямо и серьезно сказал Васька. – Чего ради сгребемся тут? На смех людям?

– Тьфу! – рассердился отец. – Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас – всего стесняется.

– А чего тут стесняться-то? Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно.

– Объясни вот ему!

Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками; вода вскипала под ним.

– Силен! – с восхищением сказал Игнатий.

– Я ж тебе говорю!

Помолчали, глядя на Ваську.

– Он бы тебя уложил.

– Не знаю, – не сразу ответил Игнатий. – Силы у него больше – это ясно.

Отец сердито высморкался на песок.

Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду.

А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька.

Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали.

Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова.

– Катунь-матушка, – негромко сказал он.

Васька и отец тоже посмотрели на реку.

На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колодила вальком по белью, ослепительно белели ее тупые круглые коленки.

– Юбку-то спусти маленько, эй! – крикнул старик.

Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.

– Вот халда! – с восхищением сказал старик. – Хоть бы хны ей.

Братья стали одеваться.

Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало.

– Чего ты такой? – спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.

– Не знаю. Так просто.

– Не допил, поэтому, – пояснил старик. – Ни два, ни полтора получилось.

– Черт его знает! Не обращайтесь внимания. Давайте посидим, покурим...

Сели на теплые камни. Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились.

Солнце село на той стороне, за островами. Было тихо. Только всплескивали волны, кипела река, да удары валька по мокрому белью – гулкие, смачные – разносились над рекой.

Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое.

Игнатий присмирел. Перестал хохотать, не басил.

– Что, Вася? – негромко спросил он.

– Ничего. – Васька бросил камешек в воду.

– Все пашешь?

– Пашем.

Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали.

– Жена у тебя хорошая, – сказал Васька. – Красивая.

– Да? – Игнатий оживился, с любопытством, весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно: – Ничего. Тяте вон не нравится.

– Я не сказал, что не нравится, чего ты зря? – Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. – Хорошая женщина. Только, я считаю, шибко фартовая.

Игнатий захохотал.

– А ты знаешь, что такое фартовая-то?

Отец отвернулся к реке, долго молчал – обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито:

– Зря ты не поборолся с ним.

– Вот привязался! – удивился Васька. – Ты что?

– Заело что-то тятю, – сказал Игнатий, – что-то не нравится ему.

– Что мне не нравится? – повернулся к нему отец.

– Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.

– Ну и видь! Ты шибко умный стал, прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь!

– Будет вам! – сказал Васька. – Чего взялись? Нашли время.

– Да ну его! – Отец засморкался и полез за кисетом. – Приехал, расхвастался тут, подарков навез... подумаешь!

– Тять, да ты что в самом деле?!

Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок – не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца.

– Пошли? Тять...

– У тебя деньги есть? – спросил тот.

– Есть. Пошли...

Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам.

– Чего он? – Игнатия не на шутку встревожило настроение отца.

– Так... Ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь. – Васька улыбнулся.

– Какую песню? Я их перезабыл все. А ты поешь с ним песни?

– Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он... Пройдет.

Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого, – раньше он не замечал этого.

Одни

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

– Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.

– Эт почему же?

– А потому... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охота, душе-то.

– Плевать мне на твою душу.

– Эх-х...

– Чего «эх»? Чего «эх»?

– Так... Вспомнил твоего папашу кулака, царство ему небесное.

Марфа, грозная, большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой, маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.

– Ты папашу моего не трожь... Понял?

– Ага, понял, – кротко отвечал Антип.

– То-то.

– Шибко уж ты строгая, Марфынька. Нельзя так, милая: надсадишь сердечушко свое и помрешь.

Марфа за сорок лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать: когда он говорит серьезно, а когда шутит.

– Впрочем, шей.

– Шью, матушка, шью.

В доме Калачиковых жил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя. Дом был большой, светлый. Когда-то он оглашался детским смехом, потом, позже, бывали здесь и свадьбы, бывали и скорбные ночные часы нехорошей тишины, когда зеркало завешено и слабый свет восковой свечи – бледный и немощный – чуть-чуть высвечивает глубокую тайну смерти. Много всякого было. Антип Калачиков со своей могучей половиной вывел к жизни двенадцать человек детей. А всего у них было восемнадцать.

Облик дома менялся с годами, но всегда неизменным оставался рабочий уголок Антипа – справа от печки, за перегородкой. Там Антип шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. И там же, на стене, висела его заветная балалайка. Это была страсть Антипа, это была его бессловесная глубокая любовь всей жизни – балалайка. Антип мог часами играть на ней, склонив на бочок голову, – и непонятно было: то ли она ему рассказывает что-то очень дорогое, давно забытое им, то ли он передает ей свои неторопливые стариковские думы. Он мог сидеть так целый день, и сидел бы, если бы не бдительная Марфа. Марфе действительно нужно было, чтобы он целыми днями только шил и шил: страсть как любила деньги, тряслась над копеечкой. Она всю жизнь воевала с Антиповой балалайкой. Один раз дошло до того, что она в гневе кинула ее в огонь, в печку. Побледневший Антип стоял и смотрел, как она горит. Балалайка вспыхнула сразу, точно берестинка. Ее стало коробить... Трижды простонала она почти человеческим стоном – лопнули струны – и умерла. Антип пошел во двор, взял топор и изрубил на мелкие кусочки все заготовки хомутов, все сбруи, седла и уздечки. Рубил молча, аккуратно. На скамейке. Перетрусившая Марфа не сказала ни слова. После этого Антип пил неделю, не заявляясь домой. Потом пришел, повесил на стену новую балалайку и сел за работу. Больше Марфа никогда не касалась балалайки. Но за Антипом следила внимательно: не засиживалась у соседей подолгу, вообще старалась не отлучаться из дома. Знала: только она за порог, Антип снимает балалайку и играет – не работает.

Как-то раз, осенним вечером, сидели они – Антип в своем уголке, Марфа – у стола с вязаньем.

Молчали.

Во дворе слякотно, дождик идет. В доме тепло и уютно.

Антип молоточком заколачивает в хомут медные гвоздочки: тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Отложила Марфа вязанье, о чем-то задумалась, глядя в окно. Тук-тук, тук-тук – постукивает Антип. И еще тикают ходики, причем как-то так, что кажется, что они вот-вот остановятся. А они не останавливаются.

В окна мягко и глуховато сыплет горстями дождь.

– Чего пригорюнилась, Марфынька? – спросил Антип. – Все думаешь, как денег побольше скопить?

Марфа молчит, смотрит задумчиво в окно. Антип глянул на нее.

– Помирать скоро будем, так что думай не думай. Думай не думай – сто рублей не деньги. – Антип любил поговорить, когда работал. – Я вот всю жизнь думал и выдумал себе геморрой. Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстания разные поднимали, в Гражданской участвовали, в Отечественной... Хотя уж погибали, так героически. А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу – скоро семисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашивается, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне наплевать на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя скоро отойдет даже: не нужны будут шорники. Для чего же, спрашивается, мне жизнь была дадена?

– Для детей, – серьезно сказала Марфа.

Антип не ждал, что она поддержит разговор. Обычно она обрывала его болтовню каким-нибудь обидным замечанием.

– Для детей? – Антип оживился. – С одной стороны, правильно, конечно, а с другой – нет, неправильно.

– С какой стороны неправильно?

– С той, что не только для детей надо жить. Надо и самим для себя немножко.

– А чего бы ты для себя-то делал?

Антип не сразу нашелся, что ответить на это.

– Как это «чего»? Нашел бы чего... А может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок – это кусок золота – редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...

– Перестань уж!.. – Марфа махнула рукой. – Завел – противно слушать.

– Значит, не понимаешь, – вздохнул Антип.

Некоторое время молчали.

Марфа вдруг всплакнула... Вытерла платочком слезы и сказала:

– Разлетелись наши детушки по всему белому свету.

– Что же им, около тебя сидеть всю жизнь? – заметил Антип.

– Хватит стучать-то! – сказала вдруг Марфа. – Давай посидим, поговорим про детей.

Антип усмехнулся, отложил молоток.

– Сдаешь, Марфа, – весело сказал он. – А хочешь, я тебе сыграю, развею тоску твою?

– Сыграй, – разрешила Марфа.

Антип вымыл руки, лицо, причесался.

– Дай новую рубашенцию.

Марфа достала из ящика новую рубаху. Антип надел ее, подпоясался ремешком. Снял со стены балалайку, сел в красный угол, посмотрел на Марфу...

– Начинаем наш концерт!

– Ты не трепись только, – посоветовала Марфа.
– Сейчас вспомним всю нашу молодость, – хвастливо сказал Антип, настраивая бала-лайку. – Помнишь, как тогда на лужках хороводы водили?
– Помню, чего же мне не помнить. Я как-нибудь помоложе тебя.
– На сколько? На три недели с гаком?
– Не на три недели, а на два года. Я тогда еще совсем молоденькая была, а ты уж выкобенивался.

Антип миролюбиво засмеялся:

– Я мировой все-таки парень был! Помнишь, как ты за мной приударяла?
– Кто? Я, что ли? Господи!.. А на кого это тятя-покойничек кобелей спускал? Штанину-то кто у нас в ограде оставил?
– Штанина, допустим, была моя...

Антип подкрутил последний колочек, склонил маленькую голову на плечо, ударил по струнам... Заиграл. И в теплую пустоту и сумрак избы полилась тихая светлая музыка далеких дней молодости. И припомнились другие вечера, и хорошо и грустно сделалось, и подумалось о чем-то главном в жизни, но так, что не скажешь, что же есть это главное.

Не шей ты мне, ма-амынька,
Красный сарафа-ан, —

запел тихонечко Антип и кивнул Марфе. Та поддержала:

Не входи, родимая,
Попусту в изъян...

Пели не так чтобы очень уж стройно, но обоим сделалось удивительно хорошо. Вставали в глазах забытые картины. То степь открывалась за родным селом, то берег реки, то шепотливая тополиная рощица припоминалась, темная и немножко жуткая... И было что-то сладко волнующее во всем этом. Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...

Потом Антип заиграл веселую. И пошел по избе мелким бесом, игриво виляя костлявыми бедрами.

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои,
Походите, погуляйте.
Па-ба-луй-тися!

Антип был трогательно смешон в своем веселье. Он стал подпрыгивать... Марфа засмеялась, потом всплакнула, но тут же вытерла слезы и опять засмеялась:

– Хоть бы уж не выдрючивался, господи!.. Ведь смотреть не на что, а туда же. Антип сиял. Маленькие умные глазки его светились озорным блеском.

Ох, Марфа моя, ох, Марфынька,
Укоряешь ты меня за напраслинку!

– А помнишь, Антип, как ты меня в город на ярманку возил?
Антип кивнул головой:

Ох, помню, моя,

Помню, Марфынька,
Ох, хаханечки-ха-ха,
Чечевика с викою!

– Дурак же ты, Антип! – ласково сказала Марфа. – Плетешь черт-те чего.

Ох, Марфушечка моя, —
Радость всенародная...

Марфа так и покатилась.

– Ну, не дурак ли ты, Антип!

Ох, там, ри-та-там,
Ритатушеньки мои!

– Сядь, споем какую-нибудь, – сказала Марфа, вытирая слезы.

Антип слегка запыхался... Улыбаясь, смотрел на Марфу.

– А? А ты говоришь: Антип у тебя плохой!

– Не плохой, а придурковатый, – поправила Марфа.

– Значит, не понимаешь, – сказал Антип, нисколько не обидевшись за такое уточнение.

Сел. – Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окайные деньги. Не сердись, конечно.

– Не деньги меня замучили, а нету их – вот что мучает-то.

– Хватило бы... брось, пожалуйста. Но не будем. Какую желаете, мадемуазель фрау?

– Про Володю-молодца.

– Она тяжелая, ну ее!

– Ничего. Я поплачу хоть маленько.

Ох, не вейти-ися чайки над морем, —

запел Антип, —

Вам некуда, бедненьким, сесть.
Слетайте в Сибирь, край далекий,
Снесите печальну-я весть.

Антип пел задушевно, задумчиво. Точно рассказывал:

Ох, в двенадцать часов темной но-очий
Убили Володю-молодца-а.
Наутро отец с младшим сыном...

Марфа захлюпала.

– Антип, а Антип!.. Прости ты меня, если я чем-нибудь тебя обижаю, – проговорила она сквозь слезы.

– Ерунда, – сказал Антип. – Ты меня тоже прости, если я виноватый.

– Играть тебе не даю...

– Ерунда, – опять сказал Антип. – Мне дай волю – я день и ночь согласен играть. Так тоже нельзя. Я понимаю.

– Хочешь, читушечку тебе возьмем?

– Можно, – согласился Антип.

Марфа вытерла слезы, встала.

– Иди пока в магазин, а я ужин соберу.

Антип надел брезент и стоял посреди избы, ждал, когда Марфа достанет из глубины огромного сундука, из-под тряпья разного, деньги. Стоял и смотрел на ее широкую спину.

– Вот еще какое дело, – небрежно начал он, – она уж старенькая стала... надо бы новую.

А в магазин вчера только привезли. Хорошие! Давай – заодно куплю.

– Кого? – Марфина спина перестала двигаться.

– Балалайку-то.

Марфа опять задвигалась. Достала деньги, села на сундук и стала медленно и трудно отсчитывать. Шевелила губами и хмурилась.

– Она же у тебя играет еще, – сказала она.

– Там треснула досочка одна... дребезжит.

– А ты заклей. Возьми да варом аккуратненько...

– Разве можно инструмент варом? Ты что, бог с тобой!

Марфа замолчала. Снова стала считать деньги. Вид у нее был строгий и озабоченный.

– На. – Она протянула Антипу деньги. В глаза ему не смотрела.

– На четвертинку только? – У Антипа отвисла нижняя губа. – Да-а...

– Ничего, она еще у тебя поиграет. Вон как хорошо сегодня играла!

– Эх, Марфа!.. – Антип тяжело вздохнул.

– Что «эх»? Что «эх»?

– Так... проехало. – Антип повернулся и пошел к двери.

– А сколько она стоит-то? – спросила вдруг Марфа сурово.

– Да она стоит-то копейки! – Антип остановился у порога. – Рублей шесть по новым ценам.

– На. – Марфа сердито протянула ему шесть рублей.

Антип подошел к жене скорым шагом, взял деньги и молча вышел: разговаривать или медлить было опасно – Марфа легко могла раздумать.

Критики

Деду было семьдесят три, Петьке, внуку, – тринадцать. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька, не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили.

Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке:

– Ухайдакали мы с тобой пять рубликов.

Петька для приличия делал удивленное лицо.

– Ничего, прокормют, – говорил дед (имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу). – А нам с тобой это для пользы.

Садись всегда в первый ряд: дешевле, и потом, там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел:

– Ты чего? Как дурак...

– А как он тут сказал? – спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

– Не снижая темпов.

– Хе-хе-хе, – негромко смеялся дед уже над собой. – А мне не так показалось.

Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного.

– Эх вы... люди! – горько шептал он и сморкался в платок.

Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмеялся и шептал:

– От черти!.. Ты гляди, гляди... Хэх!

Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой (в молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел).

– Нет, вон тот не... это... слабый. А этот ничего, верткий.

Впрочем, фальшь чуял.

– Ну-у, – обиженно говорил он, – это они понарошке.

– Так кровь же идет, – возражал Петька.

– Та-а... кровь. Ну и что? Нос, он же слабый: дай потихоньку, и то кровь пойдет. Это не в том дело.

– Ничего себе не в том!

– Конечно, не в том.

На них шикали сзади, и они умолкали.

Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости.

– Хреновина, – заявлял он. – Так не бывает.

– Почему не бывает?

– А что, тебе разве этот парень глянется?

– Какой парень?

– С гармошкой-то. Который в окно-то лазил.

– Он не лазил в окно, – поправлял Петька; он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку. – Он только к окну лез, чтобы спеть песню.

– Ну, лез. Я вон один раз, помню, полез было...

– А что, он тебе не глянется?

– Кто?

- Кто-кто!.. Ну парень-то, который лез-то. Сам же заговорил про него.
- Ни вот на столько. – Дед показывал кончик мизинца. – Ваня-дурачок какой-то. Поет и поет ходит... У нас Ваня-дурачок такой был – все пел ходил.
- Так он же любит! – начинал нервничать Петька.
- Ну и что, что любит?
- Ну и поет.
- А?
- Ну и поет, говорю!
- Да его бы давно на смех подняли, такого! Ему бы проходу не было. Он любит... Когда любят, то стыдятся. А этот трезвонит ходит по всей деревне... Какая же дура пойдет за него! Он же несерьезный парень. Мы вон, помню: поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь – потому что совестно. Любит... Ну и люби на здоровье, но зачем же...
- Чего – зачем?
- Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню...
- Опять «мы, мы». Сейчас же люди-то другие стали!
- Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков?
- Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать.
- Я и не сравниваю. Я говорю, что парень непохожий, вот и все, – стоял на своем дед.
- Так всем же глянется! Смеялись же! Я даже и то смеялся.
- Ты маленький ишо, поэтому тебе все смешно. Я вот небось не засмеюсь где попало. Со взрослыми дед редко спорил об искусстве – не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался.
- Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми, и этот-то единственный раз и навлек на его голову беду.
- Дело было так.
- Посмотрели они с Петькой картину – комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам.
- И ведь что обидно: сами ржут, черти (актеры), а тут сидишь – хоть бы хны, даже усмешки нету! – горько возмущался дед. – У тебя была усмешка?
- Нет, – признался Петька. – Один раз только, когда они с машиной перевернулись.
- Ну вот! А ведь мы же деньги заплатили – два рубля по-старому! А они сами посмеялись, и все.
- Главное, пишут: «Комедия».
- Комедия!.. По зубам за такую комедию надавать.
- Пришли домой злые.
- А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки. С мужем. Из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. (Дед и Петька «не переваривали» телевизор. «Это я, когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний: все вроде как подглядываешь», – сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи.)
- Вот, значит, сидят все, смотрят.
- Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил:
- Хреновина. Так не бывает.
- Отец Петьки обиделся.
- Помолчи, тять, не мешай.

– Нет, это любопытно, – сказал городской вежливый мужчина. – Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает?

– А?

– Он недослышит у нас, – пояснил Петькин отец.

– Я спросил: почему так не бывает?! А как бывает?! – громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь.

Дед презрительно посмотрел на него.

– Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник, а я, когда глянул, сразу вижу: никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет.

– Они у нас критики с Петькой, – сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон.

– Любопытно, – опять заговорил городской. – А почему вы решили, что он топор неправильно держит?

– Да потому, что я сам всю жизнь плотничал. «Почему решили?»

– Дедушка, – встряла в разговор Петькина тетя, – а разве в этом дело?

– В чем?

– А мне вот гораздо интереснее сам человек. Понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, – это актер, но мне инте... мне гораздо интереснее...

– Вот такие и пишут на студии, – опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали – Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило.

– Тебе не важно, а мне важно, – отрезал он. – Тебя им надуть – пара пустяков, а меня не надуют.

– Ха-ха-ха, – засмеялся городской человек. – Получила?

Петькина тетя тоже усмехнулась.

Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда.

– Тебе ведь трудно угодить, тять, – сказал Петькин отец. – Иди лучше к Петьке, помоги ему. – Склонился к городскому человеку и негромко пояснил: – Помогает моему сыну уроки учить, а сам – ни в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора!

– Любопытный старик, – согласился городской человек.

Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке.

– Смеются, – сказал он Петьке.

– Кто?

– Вон... – Дед кивнул в сторону горницы. – Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают!

– Не обращай внимания, – посоветовал Петька.

Дед присел к столу, помолчал. Потом опять заговорил.

– Ты, говорят, дурак, из ума выжил...

– Что, так и сказали?

– А?

– Так и сказали на тебя – дурак?

– Усмехаются сидят. Они шибко много понимают! – Дед постепенно «заводился», как выражался Петька.

– Не обращай внимания, – опять посоветовал Петька.

– Приехали... Грамотеи! – Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел. Пришел через час пьяный.

– О-о! – удивился Петька (дед редко пил). – Ты чего это?

– Смотрют? – спросил дед.

– Смотрят. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?

Дед грузно опустился на лавку.

– Они понимают, а мы с тобой не понимаем! – громко заговорил он. – Ты, говорят, дурак, дедушка! Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают! Денег много?! – Дед уже кричал. – Если и много, то не подымай нос! А я честно всю жизнь горбатился!.. И я же теперь сиди, помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал! – Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор.

Петька растерялся.

– Не надо, деда, не надо, – успокаивал он деда. – Давай я тебя разую. Ну их!..

– Нет, постой, я ему скажу... – Дед хотел встать, но Петька удержал его.

– Не надо, деда!

– Финтифлюшки городские. – Дед как будто успокоился, притих.

Петька снял с него один сапог.

Но тут дед опять чего-то вскинул голову.

– Ты мне усмешечки строишь? – Опять глаза его безрассудно заблестели. – А я тебе одно слово могу сказать!.. – Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его.

Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор.

– Вот вам!.. И плотникам вашим!

Экран – вдребезги.

Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула.

– Усмешечки строить! – закричал дед. – А ты когда-нибудь топор держал в руках?!

Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу.

Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем.

– Удосужил ты меня, удосужил, родитель, – зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. – Спасибо тебе.

Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла.

– Удосужил ты меня... – все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился.

Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой о крашеную половицу и кричал:

– Ты мне усмешечки, а я тебе – одно слово!.. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь...

– Да разве я так говорил? – спросил городской мужчина.

– Не говорите вы с ним, – сказала мать Петьки. – Он сейчас совсем оглох. Бессовестный.

– Вы меня с собой за стол сажать не хотите – ладно! Но ты мне... Это – ладно, пускай! – кричал дед. – Но ты мне тогда скажи: ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А-а!.. А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю! А я половину этой деревни своими руками построил!..

– Удосужил, родимчик тебя возьми, удосужил, – приговаривал отец Петьки.

И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик, Ермолай Кибяков.

– Ого-го! – воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. – Ты чего это, дядя Тимофей? А?

– Удосужил меня на радостях-то, – сказал отец Петьки, поднимаясь.

Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал:

– Надо. Пусть там переночует.

Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу.

Дед притих.

Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево.

«Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча...»

– Он с какого года рождения?

– С девяностого.

«Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. ...Вышеуказанный Тимофей двадцать пятого сентября сего года появился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор. И гости еще были».

– Как кинофильм назывался?

– Не знаю. Мы включили, когда там уже шло, – пояснил отец. – Про колхоз.

«...Заглавие фильма не помнят. Знают одно: про колхоз.

Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. «Руки, говорит, у плотников совсем не такие». И стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43–45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.

Старший сержант милиции КИБЯКОВ».

Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.

– Пошли, дядя Тимофей!

Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его.

– Куда вы его?! Деда, куда они тебя!.. Не надо, тять, не давай!..

Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся.

– Жалко дедушку-то? Сча-ас мы его в тюрьму посадим. Сча-ас...

Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать.

– Ничего не будет с ним, что ты плачешь-то? Переночует там ночь и придет. А завтра стыдно будет. Не плачь, сынок.

Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку.

– Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель! Он же придет скоро. У нас в Москве знаешь сколько водят в отрезвитель!..

Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку.

Змеиный яд

Максиму Волокитину пришло в общежитие письмо. От матери. «Сынок, хвораю. Разломило всю спинушку и ногу к затылку подводит – радикулит, гад такой. Посоветовали мне тут змеиным ядом, а у нас нету. Походи, сынок, по аптекам, поспрошай, может, у вас есть. Криком кричу – больно. Походи, сынок, не поленись...»

Максим склонился головой на руки, задумался. Заболело сердце – жалко стало мать. Он подумал, что зря он так редко писал матери, вообще почувствовал свою вину перед ней. Все реже и реже думалось о матери последнее время, она перестала сниться ночами... И вот оттуда, где была мать, замаячила черная беда.

«Дождался».

Было воскресенье. Максим надел выходной костюм и пошел в ближайшую аптеку.

«Наверно, как-нибудь называется этот яд, узнать бы, чтоб посолидней спрашивать».

Но узнать не у кого, и он пошел так.

В аптеке было мало народа. Максим заметил за прилавком хорошенькую девушку, подошел к ней.

– У вас змеиный яд есть?

Девушка считала какие-то порошки. Приостановилась на секунду, еще раз шепотом повторила последнее число, чтоб не сбиться, мельком глянула на Максима, сказала «нет» и снова принялась считать. Максим постоял немного, хотел спросить, как называется змеиный яд по-научному, но не спросил – девушка была очень занята.

В следующей аптеке произошел такой разговор:

– У вас змеиный яд есть?

– Нет.

– А бывает?

– Бывает, но редко.

– А может, вы знаете, где его можно достать?

– Нет, не знаю, где его можно достать.

Отвечала сухопарая женщина лет сорока, с острым носом, с низеньким лбом. Кожа на лбу была до того тонкая и белая, что, кажется, сквозь нее просвечивала кость. Максиму подумалось, что женщине доставляет удовольствие отвечать «нет», «не знаю». Он усталился на нее.

– Что? – спросила она.

– А где же он бывает-то? Неужели в целом городе нет?!

– Не знаю, – опять с каким-то странным удовольствием сказала женщина.

Максим не двигался с места.

– Еще что? – спросила женщина. Они были в стороне от других, разговора их никто не слышал.

– А отчего вы такая худая? – спросил Максим. Он сам не знал, что так спросит, и не знал, зачем спросил, – вылетело. Очень уж недобрая была женщина.

Женщина от неожиданности заморгала глазами.

Максим повернулся и пошел из аптеки.

«Что же делать?» – думал он.

Аптека следовала за аптекой, разные люди отвечали одинаково: «нет», «нету».

В одной аптеке Максим увидел за стеклянным прилавком парня.

– Нет, – сказал парень.

– Слушай, а как он называется по-научному? – спросил Максим. Парень решил почему-то, что и ему пришла пора показать себя «шибко ученым» – застоялся, наверно, на одном месте.

– По-научному-то? – спросил он, улыбаясь. – А как в рецепте написано? Как написано, так и называется.

– У меня нет рецепта.

– А что ж вы тогда спрашиваете? Так ведь живую воду можно спрашивать.

– А что, не дадут без рецепта? – негромко спросил Максим, чувствуя, что его начинает слегка трясти.

– Нет, молодой человек, не дадут.

Это снисходительное «молодой человек» доконало Максима.

– До чего ж ты умница! – тихо воскликнул он. – Это ж надо такому уродиться!..

Максим вышел на улицу, закурил.

Напротив, через улицу, было отделение связи. Максим докурил вчастую сигарету, зашел в отделение и дал матери телеграмму: «Змеиный яд выслал. Максим».

«Весь город переверну – добуду», – думал он, шагая по улице. Казалось теперь: будет змеиный яд – мать будет здорова.

В одной очень большой аптеке Максим решительно направился к пышной красивой женщине. Она выглядела приветливее других.

– Мне нужен змеиный яд, – сказал он.

– Нету, – ответствовала женщина.

– Тогда позовите вашего начальника.

Женщина удивленно посмотрела на него.

– Зачем?

– Я с ним потолкую.

– Не буду я его звать – незачем. Он вам не сможет помочь. Нет у нас такого лекарства.

Максиму захотелось обидеть женщину, сказать в лицо ей какую-нибудь грубость. И не то вконец обозлило Максима, что яда опять нет, а то, с какой легкостью, отвратительно просто все они отвечают это свое «нет».

– Позовите начальника! – потребовал Максим. И вдруг добавил жалобным голосом: – У меня мать болеет. – Аж самому противно сделалось.

Женщина оставила официальный тон.

– Ну нет у нас сейчас змеиного яда, я серьезно говорю. Я могу вам дать пчелиный. У нее что, радикулит?

– Ага.

– Возьмите пчелиный. Змеиный не всегда и нужен.

– Давайте. – Максиму было стыдно за свой жалобный тон. – Он тоже помогает?

– У вас рецепт есть?

– Нету.

– А как же?..

– Что?

– Без рецепта нельзя, не могу.

У Максима упало сердце.

– Это такой ма-аленький рецептик, да? Бумажечка такая...

Женщина невольно улыбнулась.

– Да, да. Рецепт выписывает врач, а мы...

– Дайте мне так, а... А я завтра принесу вам рецепт. Дайте, а?!

– Не могу, молодой человек, не могу.

На улице Максим долго соображал, что делать. Даже если он и наткнется где-нибудь на змеиный яд, то без рецепта все равно не дадут. Это ясно. Надо сперва добыть рецепт.

По дороге домой опять зашел на почту и дал матери еще одну телеграмму: «А пчелиный яд надо? Максим».

На другой день в девять часов утра он пошел на стройку, отпросился с работы и направился в поликлинику.

В белой стеклянной стенке – окошечко, за окошечком – белая девушка. Она долго «заводила» на Максима карточку, потом подала ему талончик. Максим посмотрел – четырнадцатая очередь на тринадцать тридцать.

– А поближе нету?

– Нет.

– Девушка, милая... – Максим почувствовал, что опять начинает говорить жалостливым тоном, но остановиться не мог. – Девушка, дайте мне поближе, а? Мне шибко надо. Пожалуйста.

Девушка, не глядя на него, порылась в талончиках, выбрала один, подала Максиму. И тогда только посмотрела на него. Максиму показалось, что она усмехнулась.

«Милая ты моя, – думал растроганный Максим. – Смейся, смейся – талончик-то вот он». Его очередь была шестой, на одиннадцать часов.

У кабинета врача сидело человек десять больных. Максим присел рядом с пожилым мужчиной, у которого была такая застойная тоска в глазах, что, глядя на него, невольно думалось: «Все равно все помер».

«Прижало мужика», – подумал Максим. И опять вспомнил о матери и стал с нетерпением ждать доктора.

Доктор пришел. Мужчина, еще молодой.

Вышла из кабинета женщина и спросила:

– У кого первая очередь?

Никто не встал.

– У меня, – сказал Максим и почувствовал, как его подняла какая-то сила и повела в кабинет.

– У вас первая очередь? – спросил его мужчина.

– Да, – твердо сказал Максим и вошел в кабинет совсем веселым и, как ему казалось, очень ловким парнем.

– Что? – спросил доктор, не глядя на него.

– Рецепт, – сказал Максим, присаживаясь к столу. Доктор чего-то хмурился, не хотел подымать глаза.

«Выпил, наверно, вчера крепко», – сообразил Максим.

– Какой рецепт? – Доктор все перебирал какие-то бумажки.

– На змеиный яд.

– А что болит-то? – Доктор поднял глаза.

– Не у меня. У меня мать болеет, у нее радикулит. Ей врачи посоветовали змеиным ядом.

– Ну, так?..

– Ну, а рецепта нету. А без рецепта, сами понимаете, никто не дает. – Максиму казалось, что он очень толково все объясняет. – Поэтому я прошу: дайте мне рецепт.

Доктора что-то заинтересовало в Максime.

– А где мать живет?

– В Красноярском крае. В деревне.

– Ну?.. И нужен, значит, рецепт!

– Нужен. – Максиму было легко с доктором: доктор нравился ему.

Доктор посмотрел на сестру.

– Раз нужен, – значит, дадим. А, Клавдия Николаевна?

– Надо дать, конечно.

Доктор выписал рецепт.

– Он ведь редко бывает, – сказал он. – Съезди в двадцать седьмую. Знаешь где? Против кинотеатра «Прибой». Там может быть.

– Спасибо. – Максим пожал руку доктора и чуть не вылетел на крыльях из кабинета – так легко и радостно сделалось.

В двадцать седьмой яда не было.

Максим подал рецепт и, затаив дыхание, смотрел на аптекаря.

– Нет, – сказал тот и качнул седой головой.

– Как нет?

– Так, нет.

– Так у меня же рецепт... Вот же он, рецепт-то!

– Я вижу.

– Да ты что, батя? – с тихим отчаянием сказал Максим. – Мне нужен этот яд.

– Так нет же его, нет – где же я его возьму? Вы же можете соображать – нет змеиного яда.

Максим вышел на улицу, прислонился спиной к стене, бессмысленно стал смотреть в лица прохожих. Прохожие все шли и шли нескончаемым потоком... А Максим все смотрел и смотрел на них и никак о них не думал.

Потом одна мысль пришла в голову Максиму. Он резко качнулся от стены и направился к центру города. В цирк.

Вахтер в цирке поднялся навстречу Максиму.

– Вам к кому?

– К Байкалову Игнату.

– У них репетиция идет.

– Ну и что?

– Репетиция!.. Как что? – Вахтер вознамерился не пускать.

– Да пошли вы! – обозлился Максим, легко отстранил старика и прошел внутрь.

Прошел пустым, гулким залом.

На арене посередине стоял здоровенный дядя, а на нем – одна на другой – изящные, как куколки, молодые женщины.

Максим подошел к человеку, который бросал в стороны тарелки.

– Как бы мне Байкалова тут найти?

Человек поймал все тарелки.

– Что?

– Мне Байкалова надо найти.

– На втором этаже. А зачем?

– Так... Он земляк мой.

– Вон по той лестнице – вверх. – Человек снова запустил тарелки в воздух.

Игнатий боролся с каким-то монголом. Монгол был устрашающих размеров.

– Игнат! – позвал Максим.

Игнатий слез с монгола.

– Максим!.. Здорово. – Игнатий был потный, разгоряченный борьбой. – Ты как здесь? – Он погладил рукой бок.

– Намял он тебе?

– Вот именно – намял. Здоровый буйвол, а бороться не умеет.

– Неужели ты его одолеешь?

– Хошь, покажу.

– Не надо. Я к тебе по делу, Игнат. У меня мать захворала – письмо получил. Надо змеино-го яда достать... Весь город обошел – нигде нету. Может, у тебя какие знакомые есть?.. Может, врач какой-нибудь...

Игнатий задумался.

– Черт его знает... трудно сейчас сказать. Если бы раньше пришел. Я ж завтра уезжаю. Домой ведь еду!

– Домой?

– Но!

– В отпуск, что ли?

– Но.

Максим с тоскливой завистью посмотрел на земляка.

– Хорошо.

– Я попробую сегодня спросить у одних. Раньше бы надо...

– Раньше-то он не нужен был.

– Я понимаю. В общем, я схожу туда сегодня, спрошу. Но не обещаю, Максим.

Максим кивнул головой.

– Ладно, работай. Пойду еще куда-нибудь.

Игнатию стало отчего-то неловко.

– Я схожу, Максим. Может, достану...

– Ты надолго домой?

– На пару недель. А потом – в Гагры.

– Зайди там к матери... Скажи: пришлю лекарство. Зайди.

– Конечно! Ты не унывай особо-то. Может, достанем сегодня.

– Ничего. Привет своим передавай. Сколько не был?

– Лет пять уже.

– А я два года. Изменилось, наверно, там все...

– Да.

– Ну, работай.

Максим вышел из цирка и так же решительно, как шел от двадцать седьмой аптеки, пошел снова туда.

Подошел к старичку аптекарю.

– Я к вашему начальнику пройду.

– Пожалуйста, – любезно сказал аптекарь. – Вон в ту дверь. Он как раз там.

Максим пошел к начальнику.

В кабинете заведующего никого не было. Была еще одна дверь, Максим толкнулся в нее и ударил кого-то по спине.

– Сейчас, – сказали за дверью.

Максим сел на стул и решил без змеино-го яда не уходить.

Вошел низенький человек с усами, с гладко выбритыми – до сияния – жирненькими щеками, опрятный, полненький, лет сорока.

– Что у вас?

– Вот. – Максим протянул ему рецепт. Сердце вдруг так заколотилось, что стало больно в груди.

Заведующий повертел в руках рецепт.

– Не понимаю...

– Мне такое лекарство надо. – Максим поморщился – сердце выбрыкивало нешуточ-ным образом.

– У нас его нет.

– А мне надо. У меня мать умирает. – Максим смотрел на заведующего не мигая: чувствовал, как глаза наполняются слезами.

– Но если нет, что же я могу сделать?

– А мне надо. Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов!

Заведующий улыбнулся.

– Это уже серьезнее. Придется найти. – Он сел к телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал на Максима. Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно. Ему стало стыдно, он жалел, что сказал последнюю фразу.

– Алле! – заговорил заведующий. – Петрович? Здоров. Я это, да. Слушай, у тебя нет... – Тут он сказал какое-то непонятное слово. – Нет?

У Максима сдавило сердце.

– Да нужно тут... пареньку одному... Посмотри, посмотри... Славный парень, хочется помочь.

Максим впился глазами в лицо заведующего. Заведующий беспечно вытянул губы трубочкой – ждал.

– Да? Хорошо, тогда я подошлю его... Как дела-то? Мгм... Слушай, а что ты скажешь... А? Да что ты? Да ну?..

Пошел какой-то непонятный треп: кто-то заворовался, кого-то сняли и хотят судить. Максим смотрел в пол, чувствовал, что плачет, и ничего не мог сделать – плакал. Он очень устал за эти два дня. Он молил бога, чтобы заведующий подольше говорил, – может, к тому времени он перестанет плакать, а то хоть сквозь землю проваливайся со стыда. А если сейчас вытереть глаза, – значит, надо пошевелиться, и тогда заведующий глянет на него и увидит, что он плачет.

«Вот морда!» – ругал он себя. Он любил сейчас заведующего, как никого никогда, наверно, не любил.

Заведующий положил трубку, посмотрел на Максима. Максим нахмурился, шаркнул рукавом бостонского пиджака по глазам и полез в карман за сигаретой. Заведующий ничего не сказал, написал записку, встал... Максим тоже встал.

– Вот по этому адресу... спросите Вадима Петровича. Не отчаивайтесь, поправится ваша мама.

– Спасибо, – сказал Максим. Горло заложило, и получилось, что Максим пискнул это «спасибо». Он нагнул голову и пошел из кабинета, даже руки не подал начальнику.

«Вот же ж морда!» – поносил он себя. Ему было очень стыдно.

На другой день рано утром к Максиму забежал Игнатий. Внес с собой шум и прохладу политых асфальтов.

– Максим!.. Я поехал! Вот яд-то – достал.

Максим вскочил с кровати.

– Куда поехал?

– Домой! Вот яд...

– Так я тоже достал вчера. Флакон.

– Ну – два будет. Пригодится.

– Ты сейчас прямо едешь?

– Но. Будь здоров! Зайду попроведаю мать...

– погоди, Игнат, я провожу тебя.

– Меня такси ждет...

– Я скоро.

– Давай. Только – одна нога здесь, другая – там! – орал Игнатий. – Пятнадцать минут осталось. Жена сейчас икру мечет в вагоне.

– Она уже там? – Максим прыгал по комнате на одной ноге, стараясь попасть в штанину.

– Там.

– Сейчас... мигом. Мы в магазин не успеем заскочить? Хотел гостинцев матери...

– Да ты что! – взревел Игнатий. – Я что, по шпалам жену догонять буду?!

– Ладно, ладно...

Побежали вниз, в такси.

– Друг, – взмолился Игнатий. – Десять минут до поезда... Жми на всю железку. Плачу в трехкратном размере.

Машина рванула с места.

Жена ждала Игнатия у вагона. Оставалось полторы минуты.

– Игнатий, это... это черт знает что такое, – встретила она мужа со слезами на глазах. – Я хотела чемоданы выносить.

– Порядок! – весело гудел Игнатий. – Максим, пока! Крошка, цыпоська, в вагон.

Поезд тронулся.

– Будь здоров, Максим!

Максим пошел за вагоном.

– Игнат, передай матери: я, может, тоже скоро приеду. Не забудь, Игнат!

– Не-ет!

Максим остановился.

Поезд набирал ходу.

Максим опять догнал вагон Игнатия и еще раз крикнул:

– Не забудь, Игнат!

– Передам!

Уже расходились с перрона люди.

А Максим все стоял и смотрел вслед поезду.

...Уже никого почти не осталось на перроне, а Максим все стоял. Смотрел в ту сторону, куда уехал Игнатий.

И разыгрались же кони в поле

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови, не зови.
В сонном озере, как в иконе, —
Красный оклад зари.

Минька учился в Москве на артиста.

Было начало лета. Сдали экзамен по мастерству.

Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба – красивая. Силу он в себе чуял большую.

«Прочитаю за лето двадцать книг по искусству, – думал он, – измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни – вот тогда поглядим».

В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев.

Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати – большой, загоревший, в бостоновом костюме, – ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками. Слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел, пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые – как будто не с этого лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу.

Кондрат Лютаев лет семь уж был председателем большущего колхоза в степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька, окончив десятилетку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста, они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно пытался понять. «Да ты спроси у меня-а! – орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. – Ты у меня спроси: я их видел-перевидел, этих артистов! Они к нам на фронте каждую неделю приезжали. Все алкоголики! Даже бабы. И трепачи». Минька уперся на своем, и они разошлись.

Минька удивился, увидев отца.

Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал.

Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко.

– Ну, как ты здесь? – спросил Кондрат.

– Нормально.

Некоторое время молчали.

– Тут у вас выпить-то хоть можно? – спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента.

Тот понял это по-своему:

– Сейчас зайдем где-нибудь... Завтра стипуха.

Кондрат даже покраснел.

– Вы что, сдурели! Я ж не в том смысле! Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?

– Вообще-то не положено, – сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным и в новом шикарном костюме. – В исключительных случаях только...

– Ну и пошли! – Кондрат поднялся. – Скажете потом, что был исключительный случай.

Пошли в магазин.

Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд: колбасу дорогую, коньяк, шпроты... Рублей на сорок всего. Минька пытался остановить его, но тот только говорил сердито: «Ладно, не твое дело».

А когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила. Кондрат обрел обычный свой – снисходительный – тон.

– Не забывай, когда знаменитым станешь, артист... Забудешь небось?

– Что за глупости! Кого забуду?..

– Брось... Не ты первый, не ты последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать...

А?

– Конечно.

Выпили вчетвером – пришел еще один товарищ Миньки.

Кондрат раскраснелся, снял свой бостонский пиджак и сразу как-то раздался в ширину – под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело.

– Туго приходится? – расспрашивал он ребят.

– Ничего...

– Вижу, как ничего... Выпить даже нельзя, когда захочешь. Тоскливо небось так жить? Другой раз с девкой бы прошелся, а тут – книжки читать надо. А?

Ребята смеялись; им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты – алкоголики. И что не пустое это дело, как он думал.

– А я считаю – правильно! – басил Кондрат. – Раз приехали учиться – учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано – сопли еще по колена... Я на Миньку в прошлом году обиделся... Я снимаю свой упрек, Митрий. Учитесь. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, приезжайте ко мне, будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб – со столбами. Чем в Москве-то ошиваться...

– Тять...

– Не то говорю? Ну ладно, ладно... Вы ж ученые, я забыл. А хозяйство у меня!.. Вон Минька знает...

Потом Кондрат и Минька пошли на выставку – ВДНХ. Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо.

– Вот ты, например, человек, – заговорил он, слегка пошатываясь. – И мне сказали, что тебя надо сыграть. Но ведь ты – это же не я, верно? Понимаешь?

– Понимаю. – Кондрат шел ровно, не шатался. – Тут дурак поймет.

– Значит, я должен тебя изучить: характер твой, повадки, походку... Все выходки твои, как у нас говорят.

– А то ты не знаешь?

– Я к примеру говорю.

– Ну-ка, попробуй мою походку, – заинтересовался Кондрат.

– Господи! – воскликнул Минька. – Это ж пустяк! – Он вышел вперед и пошел, как отец, – засунув руки в карманы брюк, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под ногой землю.

Кондрат оглушительно захохотал.

– Похоже! – заорал он.

Прохожие оглянулись на них.

– Похоже ведь! – обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. – Меня показывает – как я хожу.

Миньке стало неудобно.

– Молодец, – серьезно похвалил Кондрат. – Учись – дело будет.

– Да это что!.. Это не главное. – Минька был счастлив. – Главное: донести твой характер, душу... А это, что я сейчас делал, – это обезьянничанье. За это нас долбают.

– Пошто долбают?

– Потому что это не искусство. Искусство в том, чтобы... Вот я тебя играю, так?

– Ну.

– И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я, и ты. Понял? Тогда я – художник...

– Счас пойдем глянем одного жеребца, – заговорил вдруг Кондрат серьезно. – Жеребец на выставке стоит образцовый!.. – Он зло сплюнул, покачал головой. – Буяна помнишь?

– Помню.

– Приезжала нынче комиссия смотреть – я его хотел на выставку. Забраковали, паразиты. А сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю: стоит образцовый жеребец... Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец, мать бы их в душеньку! Это ж кролик против моего Буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленки уронил, такого образцового.

Минька представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А заря на западе – вполнеба, как догорающий соломенный пожар, и чертят ее – кругами, кругами черные стремительные тени, и не слышно топота коней – тихо.

– Буяна помню, как же, – негромко сказал Минька. – Хороший конь.

Кондрат долго молчал. Сощурил синие глаза и смотрел вперед нехорошо – зло.

– Я его последнее время сам выхаживал, – заговорил он. – Фикус ему в конюшню поставил – у него там как у невесты в горнице стало. Как дите родное изучил его. Заржет черт-те где, а я уж слышу. Забраковали!.. – Кондрат замолчал. Ему было горько.

Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве, не думалось о славной, нарядной судьбе артиста... Охота стало домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра... Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина: несется в степи вольный табун лошадей, и впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит Буян. Но удивительно тихо в степи.

– Да, – сказал он.

– Со всего края приезжали смотреть...

– Да ладно, чего уж теперь.

Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне, за невысокой оградкой. Косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом.

Остановились около него.

– Этот?

– Но. – Кондрат смотрел на жеребца как на недоброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил. – Он самый.

– Орловский.

– По блату выставили.

– Красивый.

– «Красивый», – передразнил сына Кондрат. – Ты уж... лучше походки изучай, раз не понимаешь.

– Чего ты? – обиделся Минька.

– Ты сядь на него да пробежи верст пятьдесят – тогда посмотри, что от этой красоты останется.

– Но нельзя же сказать, что он некрасивый!

– Вот за эту красоту он и попал сюда. У нас ведь все так... Конечно, полюбоваться можно, особенно кто не понимает ни шиша. А ты глянь! – Кондрат перешагнул оградку и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. – Тр-р, стой! – прикрикнул Кондрат. – Гляди сюда – это грудь? Это воробьиное колено, а не грудь. Он на двадцатой версте захрипит...

Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне.

– Гражданин, вы зачем зашли туда?

– На коняку вашего люблюсь.

– Смотреть отсюда можно. Выйдите.

– А если я хочу ближе?

– Я же вам русским языком сказал: выйдите. Нельзя туда.

Кондрат выразительно посмотрел на сына, вышел из оградки.

– Понял? Издаля только можно. Потому что знающие люди враз раскусят. Чистая работа!

Служитель не понимал, о чем идет речь. Кондрат хотел уже уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно:

– Вопрос можно задать?

– Пожалуйста. – Служитель важно склонил голову набок.

– Этот конь – он кто: жеребец или кобыла?

Служитель взялся за живот... Он хохотал от души, как, наверное, не хохотал давно.

Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него, ждал.

– Так ты, значит... Ха-ха-ха!.. Ой, мама родная! Так ты за этим и ходил туда? Узнать? Ха-ха-ха!..

– Смотри не надсадишь, – сказал Кондрат.

Служитель вытер глаза.

– Жеребец, жеребец это, дорогой товарищ.

– Но?

– Что «но»?

– Неужели жеребец?

– Конечно, жеребец.

– Значит, я Василиса Прекрасная.

– При чем тут Василиса?

– При том, что это не жеребец. Это ишак.

Служитель рассердился:

– Заложил, наверно, вчера крепко? Иди похмелись.

– Иди сам похмелись! А не то – съезди вон на своем жеребце. На нем только в кабак и ездить.

Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным.

– Выйдите отсюда! Давайте, давайте... А то сейчас милицию позову. – Он тронул Кондрата за руку.

Кондрат зашагал от конюшни. Минька – за ним.

– Видел жеребца? – Кондрат закурил, несколько раз глубоко затянулся. – Приеду, пойду к той комиссии... Я им скажу пару ласковых. Ты тут спиши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них выплюсь там, на этих членах комиссии... Черти.

Минька тоже закурил.

– Куда сейчас?

– На вокзал. В девять пятнадцать поезд.

У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом, как радостно и легко.

– Как вы там? – спросил он.

– Ничего, живы-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскочила один раз ночью – вроде ее кто-то в окно позвал. Я вышел – никого нету. Тоскует, вот и кажется.

Минька нахмурился.

– Чего она?..

– Так ить наше дело теперь не молодое... «Чего».

– А в деревне как?

– Что в деревне?

– Ничего не изменилось?

– Все так же. Отсеялись нынче рано. Ту луговину за солонцом помнишь? Гречиху вечно сеяли...

– Но.

– Всю ее под сады пустил. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря.

Минька не знал, что еще спрашивать. Не спросишь же: «А что, по вечерам гуляют с гармошками?» Несерьезно. Да и спрашивать нечего – гуляют. Как все это далеко! Туда поедет отец. Там мать, ребята-друзки...

– Через трое суток дома будешь.

– Ты-то не приедешь летом?

– Не знаю. Кружок тут один веду... Не знаю, может, приеду.

– На будущий год он здесь будет, – твердо сказал Кондрат. – Я своего добьюсь.

– Кто?

– Буян. Я уж спланировал, как его по железной дороге везти. Не на того нарвались, я их сам забракую.

– А хорошо там у нас сейчас, да? Ночами хорошо?..

– Тоскуешь здесь?

– Да нет, что ты! Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в Парк культуры Горького – там весело.

– Москва, – раздумчиво сказал Кондрат. – На то она и столица. Мы как сейчас поедим-то?

– Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро – одна пересадка, и все.

Кондрат посмотрел на сына.

– Ты уж освоился тут.

– Не совсем, но...

– Москва, – еще раз сказал Кондрат. – Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была.

На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало.

Отец взял чемоданы из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону, молчали. Вошли в вагон.

Отец долго уставлял чемодан на верхнюю полку, потом присел к столику, напротив сына. И опять молчали, глядели в окно.

По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно.

«И все они сейчас поедут», – думал Минька.

В купе пахло чем-то свежим – не то краской, не то кожей.

Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим.

Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец.

Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно.

«Что он так? Как в последний раз», – подумал Минька.

Поезд все не трогался.

Наконец тронулся.

Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый и смотрел все так же – внимательно и строго.

Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу... И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу.

Минька пошел домой.

Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки – чтоб устать, и прийти, и сразу уснуть.

В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка.

Минька разобрал постель... Долго сидел не раздеваясь. Потом разделся и лег.

Взошла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец... Отец смотрит, наверно, в окно. А по земле идет светлая ночь, расстилает по косогорам белые простыни...

Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять, в который раз, увидел: степь, и табун лошадей несется по степи...

С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет – громко и глупо.

Степка

И пришла весна – добрая и бестолковая, как недозрелая девка.

В переулках на селе – грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колья. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из «Заготскота», то и останется он у него в руках, ибо дяди из «Заготскота» все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются на чем свет стоит.

– Тебе, паразит, жалко сапоги замарать, а я должен каждую весну плетень починять?!

– Взял бы да накидал камней, если плетень жалко.

– А у тебя что, руки отсохли? Возьми да кидай...

– А, тогда не лайся, если такой умный.

А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега.

А в тополях, у речки, что-то звонко лопаются с тихим ликующим звуком: пи-у.

Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше – умирать.

Сырой ветерок кружится и кружит голову... Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед сном грядущим, люди добреют.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Пляшут веселые огоньки, потрескивает волглый хворост. Задумчиво в теплом воздухе... Прожит день. Вполсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры – завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься бог знает о чем: что, может, жизнь – судьба эта самая – могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше?... А в общем-то, и так ничего – сойдет.

В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин.

Пришел с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, нагретый за день солнышком, вздохнул. И стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошел в деревню.

Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне – тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в завозне было уже мало. Ермолай шурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился.

...И тут на пороге, в дверях, вырос сын его – Степан.

– Здорово, тять.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына... Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

– Степка, что ли?

– Но... Ты чо, не узнал?

– Хот!.. Язви тя... Я уж думал: почудилось.

Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу... Обнялись, чмокнулись.

– Пришел?

– Пришел.

– Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

– Отработал... отпустили пораньше.

– Хот... Язви тя!.. – Отец был рад сыну, рад был видеть его. Только не знал, что делать. – А Борзя-то живой ишо, – сказал.

– Но? – удивился Степан. Он тоже не знал, что делать. Также рад был видеть отца. – А где он?

– А шалается где-нибудь. Этта в субботу вывесили бабы бельишко сушить – все изодрал. Разыгрался, сукин сын, и давай трепать...

– Шалавый дурак.

– Хотел уж пристрелить его, да подумал: придешь – обидишься...

Присели на верстак, закурили.

– Наши здоровы? – спросил Степан.

– Ничо, здоровы. Как сиделось-то?

– Ничо, хорошо. Работали.

– В шахтах небось?

– Нет, зачем – лес валили.

– Ну да. – Ермолай кивнул головой. – Дурь-то вся вышла?

– Та-а... – Степан поморщился. – Не в этом дело, тять.

– Ты вот, Степка... – Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. – Понял теперь: не лезь с кулаками куда не надо. Нашли, черти полосатые, время драться... Тут без этого...

– Не в этом дело, – опять сказал Степан.

В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой.

Степан встал с верстака, затоптал окурки... Поднял свой хилый вещмешок.

– Пошли в дом, покажемся.

– Немая-то наша, – заговорил отец, поднимаясь, – чуток замуж не вышла. – Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову.

– Но? – удивился Степан.

– И смех и грех...

Пока шли от завозни, отец рассказывал:

– Приходит один раз из клуба и маячит мне: жениха, мол, приведу. Я, говорю, те сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь.

– Может, зря?

– Чо зря? Зря... Обмануть надумал какой-то – и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая. Я, говорю, такого те жениха приведу...

– Посмотреть надо было жениха-то. Может, правда...

А в это время на крыльцо вышла и сама «невеста» – крупная девка лет двадцати трех. Увидела брата, всплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки, и смотрела она до слез доверчиво.

– М-эмм, мм, – мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядела на него сверху, с крыльца... И до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы.

– Вот те и «мэ», – сердито сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. – Ждала все, крестики на стене ставила – сколько дней осталось, – пояснил он Степану. – Любит всех, как дура.

Степан нахмурился, поднялся по ступенькам, неловко приобнял сестру, похлопал ее по спине... А она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы.

– Ладно тебе, – сопротивлялся Степан и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают, и рад был тоже и не мог оттолкнуть сестру.

– Ты гляди, – смущенно бормотал он. – Ну, хватит, хватит... Ну, все...

– Да пусть уж, – сказал отец и опять вытер глаза. – Вишь, соскучилась.

Степан высвободился наконец из объятий сестры, весело оглядел ее.

– Ну как живешь-то? – спросил.

Сестра показала руками – «хорошо».

– У ей всегда хорошо, – сказал отец, поднимаясь на крыльцо. – Пошли, мать обрадуем.

Мать заплакала, запричитала:

– Господи-батюшка, отец небесный, услышал ты мои молитвы, долетели они до тебя...

Всем стало как-то не по себе.

– Ты, мать, и радуися и горюешь – все одинаково, – строго заметил Ермолай. – Чо захлюпала-то? Ну, пришел, теперь радоваться надо.

– Дак я и радуюсь, не радуюсь, что ли...

– Ну и не реви.

– Здоровый ли, сынок? – спросила мать. – Может, по хвори какой раньше-то отпустили?

– Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили.

Стали приходить соседи, родные.

Первой прибежала Нюра Агапова, соседка, молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно:

– А я гляжу из окошка-то: осподи-батюшка, да ить эт Степан пришел?! И правда – Степан...

Степан улыбнулся ей:

– Здорово, Нюра.

Нюра обвила горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовыми губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам...

– От тебя, как от печки, пышет, – сказал Степан. – Замуж-то не вышла?

– А где они тут, женихи-то? Два с половиной мужика на всю деревню.

– А тебе что, пять надо?

– Я, может, тебя ждала? – Нюра засмеялась.

– Пошла к дьяволу, Нюрка! – возревновала мать. – Не крутись тут – дай другим поговорить. Шибко чижало было, сынок?

– Да нет, – стал рассказывать Степан. – Там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там – в неделю два раза. А хошь – иди в красный уголок, там тебе лекцию прочитают: «О чести и совести советского человека» или «О положении рабочего класса в странах капитала».

– Что же, вас туда собрали кино смотреть? – спросила Нюра весело.

– Почему?.. Не только, конечно, кино...

– Воспитывают, – встрял в разговор отец. – Мозги дуракам вправляют.

– Людей интересных много, – продолжал Степан. – Есть такие орлы!.. А есть образованные. У нас в бригаде два инженера было...

– А эти за что?

– Один – за какую-то аварию на фабрике, другой – за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове...

– Может, врет, что инженер? – усомнился отец.

– Там не соврешь. Там все про всех знают.

– А кормили-то ничего? – спросила мать.

– Хорошо, всегда почти хватало. Ничего.

Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводининых. Степан снова и снова принимался рассказывать:

– Да нет, там, в общем-то, хорошо! Вы здесь кино часто смотрите? А мы – в неделю два раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало... А один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой...

Степана слушали с интересом, немножко удивлялись, говорили «хм», «ты гляди!», пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка охмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним.

– А насчет охраны строго?

– Ерунда! Нас последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались.

– А бегут?

– Мало. Смысла нет.

– А вот говорят: если провинился человек, то его сажают в каменный мешок...

– В карцер. Это редко, это если сильно проштрафился... И то уркаганов, а нас редко.

– Вот жуликов-то, наверно, где! – воскликнул один простодушный парень. – Друг у дружки воруют, наверно?..

Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана.

– Там у нас строго за это, – пояснил Степан. – Там, если кого заметят, враз решку наведут...

Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку, отец сбегал в лавочку... Кто принес салца в тряпочке, кто пирожков, оставшихся со дня, кто пивца-медовухи в тuesке – праздник случился нечаянно, хозяева не успели подготовиться. Сели к столу затемно.

И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись... Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться... И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:

Прости мне, ма-ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!..

На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.

Х, я думала-а, что тюрьма д это шутка,
И этой шуткой сгубила д я себя-а! —

пел Степан.

Песня не понравилась – не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их...

– Блатная! – с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме – сплошное жулье. – Тихо вы!

– Чо же, сынок, баб-то много сидят? – спросила мать с другого конца стола.

– Хватает.

И возник оживленный разговор о том, что, наверно, бабам-то там не сладко.

– И вить дети небось пооставались.

– Детей – в приюты...

– А я бы баб не сажал! – сурово сказал один изрядно подпивший мужичок. – Я бы им подолы на голову – и ремнем!

– Не поможет, – заспорил с ним Ермолай. – Если ты ее выпорол – так? – она только злей станет. Я свою смолоду поучил раза два вожжами – она мне со зла немую девку принесла. Кто-то поднял песню. Свою. Родную.

Оте-ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им...

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

...Три дня, три ноченьки старался —
Сестру из плена выруча-ал...

Увлечлись песней – пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой.

...Злодей пустил злодейку пулю,
Уби-ил красавицу сестру-у.

Взошел я на гору крутую,
Село-о родное посмотреть;
Гори-ит, горит село родное,
Гори-ит вся родина-а моя-а!..

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

– Ты меня не любишь, не жалеешь! – сказал он громко. – Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, всхлипнула гармонь – кто-то предусмотрительный смотался за гармонистом. Взревели... Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм «подгорной». Старались покрепче дать ногой в половицу.

Бабы образовали круг и пошли с припевом. И немая пошла и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись... И она тоже смеялась – она была счастлива.

– Верка! Ве-ерк! – кричал изрядно подпивший мужичок. – Ты уж тогда спой, ты спой, чо же так ходить-то! – Никто его не слышал, и он сам смеялся своей шутке – просто закатывался.

Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе:

– Кэ-эк она на меня навалится, матушка, у меня аж в грудях сперло. Я насили-насили вот так голову-то приподняла да спрашиваю: «К худу или к добру?» А она мне в самое ухо дунула: «К добру!»

Пожилая баба покачала головой:

– К добру?

– К добру, к добру. Ясно так сказала: к добру, говорит.

– Упредила.

– Упредила, упредила. А я ишо подумай вечером-то: «К какому добру, – думаю, – мне суседка-то предсказала?» Только так подумала, а дверь-то открывается – и он вот он, на пороге.

– Господи, господа, – прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. – Надо же!

Бабы втащили на круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал... И приговаривал: «Оп-па, ат-та, оп-па, ат-та». И вколачивал и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала.

– Давай, Ермил! – кричали Ермолаю. – У тебя седня радость большая – шевелись!

– Ат-та, оп-па, – приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, ссутулившаяся за сорок лет работы у верстака, так и не распрямилась, и так он и плясал – слегка сгорбавшись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести – долго ждал этого дня, без малого пять лет.

В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь.

– Давай, тять...

– Давай – батька с сыном! Шевелитесь!

– А Степка-то не изработался – взбрыкивает.

– Он же говорит: им там хорошо было. Жрать давали...

– Там дадут – догонют да еще дадут.

– Ат-та, оп-па!.. – приговаривал Ермолай, приноравливаясь к сыну.

Плясать оба не умели, но работали ладно – старались. Людям это нравилось; смотрели на них с удовольствием.

Так гуляли.

Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять: решили, что так надо, надо, наверно, явиться Степану в сельсовет – оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно, начала тормозить отца. Тот спьяну отмахнулся:

– Отстань, ну ты! Пляши вон.

Вышли за ворота. Остановились.

– Ты что, сдурел, парень? – спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана.

Степан прислонился спиной к воротному столбу, усмехнулся.

– Чудно? Ничего...

– Тебе же три месяца сидеть осталось!

– Знаю не хуже тебя... Дай закурить.

Участковый дал ему папиросу, закурил сам.

– Пошли.

– Пошли.

– Может, скажешь дома-то?... А то хватятся...

– Сегодня не надо – пусть погуляют. Завтра скажешь.

– Три месяца не досидеть и сбежать!.. – опять изумился милиционер. – Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?

Степан шагнул, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла... Вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался.

– А?

– Чего?

– Зачем ты это сделал-то?

– Сбежал-то? А вот – пройтись разок... Соскучился.

– Так ведь три месяца осталось! – почти закричал участковый. – А теперь еще пару лет накинута.

– Ничего... Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили – каждую ночь деревня снится... Хорошо у нас весной, верно?

– Н-да... – раздумчиво сказал участковый.

Долго шли молча, почти до самого сельсовета.

- И ведь удалось сбежать!.. Один бежал?
- Трое.
- А те где?
- Не знаю. Мы сразу по одному разошлись.
- И сколько же ты добирался?
- Две недели.
- Тьфу!.. Ну, черт с тобой, сиди.

В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел.

- Оружия нет? – спросил участковый, отвлекаясь от протокола.
- Сроду никакой гадости не таскал с собой.
- Чем же ты питался в дороге?
- Они запаслись – те двое-то...
- А им по сколько оставалось?
- По многу...
- Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул?
- Ладно, надоело! – обозлился Степан. – Делай свое дело, я ж тебе не мешаю.

Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге. Еще сказал:

- А я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю: ошибка какая-нибудь – не может быть, чтоб на свете были такие придурки. Оказывается, правда.

Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал.

- Небось смеялись над тобой те двое-то? – не вытерпел и еще спросил словоохотливый милиционер.

Степан не слышал его.

Милиционер долго с любопытством смотрел на него. Сказал:

- А по лицу не скажешь, что дурак. – И продолжал сочинять протокол.

В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата...

- Мэ-мм? – спросила брата.
- Степан растерялся.
- Ты зачем сюда?
- Мэ-мм?! – замычала сестра, показывая на милиционера.
- Это сестра, что ли? – спросил тот.
- Но...

Немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата, руками стала пояснять свой вопрос: «Ты зачем увел его?!»

Участковый понял.

– Он... он, – показал на Степана, – сбежал из тюрьмы! Сбежал! Вот так!.. – Участковый показал на окно и показал, как сбегает. – Нормальные люди в дверь выходят, в дверь, а он в окно – раз, и ушел. И теперь ему будет... – Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. – Теперь ему опять вот эта штука будет! Два! – Растопырил два пальца и торжествующе потряс ими. – Два года еще!

Немая стала понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер – тоже смотрел на сестру.

- Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди...

Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее...

- Убери ее, – хрипло попросил Степан. – Убери!
- Как я ее уберу?..

– Убери, гад! – заорал Степан не своим голосом. – Уведи ее, а то я тебе расколю голову табуреткой!

Милиционер вскочил, оттащил немую от брата... А она рвалась к нему и мычала. И трясла головой.

– Скажи, что ты обманул, пошутил... Убери ее!

– Черт вас!.. Возись тут с вами, – ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. – Он придет сейчас, я ему дам проститься с вами! – пытался он втолковать ей. – Счас он придет!.. – Ему удалось наконец подтащить ее к двери и вытолкнуть. – Ну, здорова! – Он закрыл дверь на крючок. – Фу-у... Вот каких ты делов натворил – любуйся теперь.

Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку.

Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону.

– Вызываю машину – поедem в район, ну вас к черту... Ненормальные какие-то.

А по деревне серединой улицы шла, спотыкаясь, немая и горько плакала.

Космос, нервная система и шмат сала

Старик Наум Евстигнеев хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал.

Раз в месяц – с пенсии – Евстигнеев аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лежку. Матерился в бога.

– Как черти копытями толкут, в господу мать. Кончаюсь...

За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеева, учил уроки.

– Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в бога душу мать!..

– Не надо было напиваться.

– Молодой ишо рассуждать про это.

Пауза. Юрка поскрипывает пером.

Старику охота поговорить – все малость полегче.

– А чо же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться...

– Зачем?

– Што я, не человек, што ли?

– Хм... Рассуждения как при крепостном праве. – Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. – Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.

– А ты откуда знаешь про крепостное время-то? – Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. – Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.

– Проходили.

– Учителя, што ли, рассказывали?

– Но.

– А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.

– Они учились. В книгах написано...

– В книгах... А они, случайно, не знают, отчего человек с похмелья хворает?

– Отравление организма: сивушное масло.

– Где масло? В водке?

– Но.

Евстигнеев хоть тошно, но он невольно усмехается:

– Доучились.

– Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу... – Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.

– О-о... опять накатило! Все, мать-перемать...

– Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то?

Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет – сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди... Кадки, кадушки, туески, бочонки – целый склад. В кладовке – полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде – яма картошки, тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день, до темноты, возится по хозяйству. Часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные. Тут ли счас не жить!» – думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.

У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребяташек моложе

Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтоб Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт. В медицинский.

Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него пять рублей в месяц. А варят – старик себе отдельно, Юрка – себе. Иногда, к концу месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест хлеб.

Потом спрашивает:

– Все вышло?

– Ага.

– Я дам... Апосля привезешь.

– Давай.

Старик отвечает на безмене килограмм-два пшена, и Юрка варит себе кашу.

По утрам беседуют у печки.

– Все же охота доучиться?

– Охота. Хирургом буду.

– Сколько ишо?

– Восемь. Потому что в медицинском – шесть, а не пять, как в остальных.

– Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет сестоль?

– На стипендию. Учатся ребята... У нас из деревни двое так учатся.

Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.

– Чо эт вас так шибко в город-то тянет?

– Учиться... «Что тянет». А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне.

– Што, они много шибко получают, што ль?

– Кто? Хирурги?

– Но.

– Наоборот, им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно...

– Дак на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди на шофера выучись да работай. Они вон по сколько зашибают! Да ишо где лесишко кому подкинет, где сена привезет совхозного – деньги. И матери бы помог. У ей вить ишо трое на руках.

Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери... Накипает раздражение против старика.

– Проживем, – резко говорит он. – Никому до этого не касается.

– Знамо дело, – соглашается старик. – Сбили вас с толку этим ученьем – вот и мотаетесь по белому свету, как... – Он не подберет подходящего слова – как кто. – Жили раньше без всякого ученья – ничо, бог миловал: без хлебушка не сидели.

– У вас только одно на уме: раньше!

– А то... ирапланов понаделали – дерьма-то.

– А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать?

– А чем плохо на телеге? А еслив поехал, так знаю: худо-бедно – доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана – костей не соберут.

И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться – он потом целый день молчит; Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение оттого, что вступает за Новое – за аэропланы, учение, город, книги, кино...

Странно, но старик в Бога тоже не верит.

– Делать нечего – и начинают заполошничать, кликуши, – говорит он про верующих. – Робить надо, вот и благодать настанет.

Но работать – это значит только для себя, на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает, хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку – кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.

– У тебя какой-то кулацкий уклон, дед, – сказал однажды Юрка в сердцах.

Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно:

– Ставай, проклятый заклеменный!.. – И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: – Ты ба, наверно, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами.

Юрке это польстило.

– Не проклятый, а – проклятьем, – поправил он.

– Насчет уклона-то... смотри не вякни где. А то придут, огород урежут. У меня там сотки четыре лишка есть...

– Нужно мне.

Частенько возвращались к теме о боге:

– Чо у вас говорят про его?

– Про кого?

– Про бога-то.

– Да ничего не говорят – нету его.

– А почему тогда столько людей молится?

– А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь!

– Сравнил! Я – матерюсь.

– Все равно – в бога.

Старик в затруднении.

– Я, што ли, один так лаюсь? Раз его все упоминают, стало быть, и мне можно.

– Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.

– Отлегло малость, в креста мать, – говорит старик. – Прямо в голове все помутнело.

Юрка не хочет больше разговаривать – надо выучить уроки.

– Про кого счас проходишь?

– Астрономию, – коротко и сухо отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.

– Это про што?

– Космос. Куда наши космонавты летают.

– Гагарин-то?

– Не один Гагарин... Много уж.

– А чего они туда летают? Зачем?

– Привет! – воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. – Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

– Чо ты привязался с этой печкой? – обиделся старик. – Доживи до моих годов, тогда вякай.

– Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? – это я тебе скажу...

– Ну и растолкуй. Для чего же тебя учут? Штоб ты на стариков злился?

– Ну, во-первых: освоение космоса – это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время – долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?..

– Они такие же, как мы?

– Этого я точно не знаю. Может, маленько пострашней, потому что там атмосфера не такая – больше давит.

– Ишо драться кинутся.

– За что?

– Ну, скажут: зачем прилетели? – Старик заинтересован рассказом. – Непрошенный гость хуже татарина.

– Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще не известно, кто из нас умнее, – может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим... – Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе. – Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

– Жениться, што ли, друг на дружке будете?

– Я говорю – в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое Царство Божие, которое религия называет – рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки – пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну – они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить – лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет – и через какое-то время икс ты у дочери... А внук... ему сколько?

– Восьмой, однако.

– Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до ста – ста двадцати лет жить.

– Ну, это уж ты... приврал.

– Почему?! Уже сейчас эта проблема решается. Сто двадцать лет – это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по Галактике.

– А сами-то не можете – чтоб сто двадцать?

– Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем сто двадцать лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до Галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен: открыто какое-нибудь лекарство...

– Сто двадцать лет сам не захочешь. Надоест.

– Ты не захочешь, а другие – с радостью. Будет такое средство...

– «Средство»... Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство – и то ладно. А то башка, как этот... как бачок из-под самогона.

– Не надо пить.

– Пошел ты!..

Замолчали.

Юрка сел за учебники.

– У вас только одно на языке: «будет! будет!..» – опять начал старик. – Трепачи. Ты вот – шешнадцать лет будешь учиться, а начнет человек помирать, чо ты ему сделаешь?

– Вырежу чего-нибудь.

– Дак если ему срок подошел помирать, чо ты ему вырежешь?

– Я на такие... дремучие вопросы не отвечаю.

– Нечего отвечать, вот и не отвечаете.

– Нечего?.. А вот эти люди!.. – сгреб кучу книг и показал. – Вот этим людям тоже нечего отвечать?! Ты хоть одну прочитал?

– Там читать нечего – вранье одно.

– Ладно! – Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. – Чума раньше была?

– Холера?

– Ну, холера.

- Была. У нас в двадцать...
- Где она сейчас? Есть?
- Не приведи господи! Может, будет ишо...
- В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше: если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?
- Сбесился бы.
- И помер. А сейчас – сорок уколов, и все. Человек живет. Туберкулез был неизлечим? Сейчас, пожалуйста: полгода – и человек как огурчик! А кто это все придумал? Ученые! «Вранье»... Хотя бы уж помалкивали, если не понимаете.
- Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок.
- Так. Допустим. Собака – это ладно. А вот змея укусит?.. Иде они были, доктора-то, раньше? Не было. А бабка, бывало, пошепчет – и как рукой сымет. А вить она институтов никаких не кончала.
- Укус был не смертельный. Вот и все.
- Иди подставь: пусть она тебя разок чикнет куда-нибудь...
- Пожалуйста! Я до этого укол сделаю, и пусть кусает сколько влезет – я только улыбнусь.
- Хвастунишка.
- Да вот же они, во-от! – Юрка опять показал книги. – Люди на себе проверяли! А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то созвал студентов и стал им диктовать, как он умирает.
- Как это?
- Так. «Вот, – говорит, – сейчас у меня холодеют ноги – записывайте». Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит: «Руки отнялись».
- Они пишут?
- Пишут. Потом сердце стало останавливаться, он говорит: «Пишите». Они плакали и писали. – У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
- Ну?..
- И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими с вашими бабками еще бы тыщу лет в темноте жили... «Раньше было! Раньше было!..» Вот так было раньше?! – Юрка подошел к розетке, включил радио. Пела певица. – Где она? Ее же нет здесь!
- Кого?
- Этой... кто поет-то.
- Дак это по проводам...
- Это – радиоволны! «По проводам». По проводам – это у нас здесь, в деревне только. А она, может, где-нибудь на Сахалине поет – что, туда провода протянуты?
- Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал: вдоль железной дороги провода висят. На столбах.
- Юрка махнул рукой.
- Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить. Все.
- Ну и учи.
- А ты меня отрываешь. – Юрка сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.
- Он есть на карточке? – спросил старик.
- Кто?
- Тот ученый, помирал-то который.
- Академик Павлов? Вот он.

Юрка подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.

– Старенький уж был.

– Он был до старости лет бодрый и не напивался, как... некоторые. – Юрка отнял книгу. – И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать!.. Нервная система – это же его учение. Почему ты сейчас хвораешь?

– С похмелья, я без Павлова знаю.

– С похмелья-то с похмелья, но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она... распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался: как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого. – Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал. – Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте? Пошел домой... И ноги у тебя сами поворачивают в сельмаг. А ты возьми пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.

– Я хуже маяться буду.

– Раз помаешься, два, три – потом привыкнешь. Будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.

Старик привстал, свернул трясущимися пальцами сигарку, прикурил. Затянулся и закашлялся.

– Ох, мать твою... Кхох!.. Аж выворачивает всего. Это ж надо так!

Юрка сел опять за учебники.

Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы, полушубок, взял нож и вышел в сенцы.

«Куда это он?» – подумал Юрка.

Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом. Но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной.

– Хлеб-то есть? – спросил он строго.

– Есть. А что?

– На, поешь с салом, а то загнешся загодя со своими академиками... пока их изучишь всех.

Юрка даже растерялся.

– Мне же нечем отдавать будет – у нас нету...

– Ешь. Там чайник в печке – ишо горячий, наверно... Поешь.

Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.

– Как сало-то?

– Вери вел! Первый сорт.

– Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни сдуру начинают ее напичкивать осенью – получается одно сало, мяса совсем нет. Другие, наоборот, – маринуют: дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют: ни мяса, ни сала. А ее надо так: недельку покормить как следует, потом подержать впроголодь, опять недельку покормить, опять помариновать... Вот оно тогда будет слоями: слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь...

Юрка слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.

– Ох, здорово! Спасибо.

– Наелся?

– Ага. – Юрка убрал со стола хлеб, чайник. Сало еще осталось. – А это куда?

– Вынеси в сенцы, на кадушку. Вечером ишо поешь.

Юрка вынес сало в сенцы. Вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело:

– Теперь голова лучше будет соображать... А то... это... сидишь – маленько кружится.

– Ну вот, – сказал дед, укладываясь опять на спину. – Ох, мать твою в душеньку!.. Как ляжешь, так опять подступает.

– Может, я пойду куплю четвертинку? – предложил Юрка.

Дед помолчал.

– Ладно... пройдет так. Потом, попозже, курям посыпешь да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь.

– Ладно. Значит, так: что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее... галопом. – Юрке сделалось весело: поел хорошо, уроки почти готовы – вечером можно на лыжах покататься.

– А у его чо же, родных-то никого, што ли, не было? – спросил вдруг старик.

– У кого? – не понял Юрка.

– У того академика-то. Одни студенты стояли?

– У Павлова-то? Были, наверно. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе.

– Дети-то были, поди?

– Наверно. Завтра узнаю.

– Были, конечно. Никого еслив бы не было родных – то немного надиктуешь. Одному-то плохо.

Юрка не стал возражать. Можно было сказать: а студенты-то! Но он не стал говорить.

– Конечно, – согласился он. – Одному плохо.

Нечаянный выстрел

Нога была мертвая. Сразу была такой, с рождения: тонкая, искривленная... висела, как высохшая плеть. Только чуть шевелилась.

До поры до времени Колька не придавал этому значения. Когда другие учились ходить на двух ногах, он научился на трех – и все. Костыли не мешали. Он рос вместе с другими ребятами, лазил по чужим огородам, играл в бабки – и как играл! – отставит один костыль, обопрется на него левой рукой, нацелится – бац! – полдюжины бабок как век не было на кону.

Но шли годы. Колька вырастал в красивого крепкого парня. Костыли стали мешать. Его одноклассники провожали уже девчонок из клуба, а он шагал по переулку один, поскрипывая двумя своими постылыми спутниками.

Внимательные умные глаза Кольки стали задумчивыми.

Соседских ребят каждый год провожали в армию: то одного, то другого, то сразу нескольких... Провожали шумно. Колька обычно стоял в сенях своего дома и смотрел в щелочку. Ему тоже хотелось в армию.

Один раз отец Кольки, Андрей Воронцов, колхозный механик, застал сына за таким занятием... Хотел незаметно пройти в дом, но Колька услышал шаги, обернулся.

– Ты чего тут? – как бы мимоходом спросил отец.

Колька покраснел.

– Так, – сказал он. И пошел к своему верстачку (он чинил односельчанам часы – выучился у одного заезжего человека).

А время шло.

И случилось то, что случается со всеми: Колька полюбил.

Через дорогу от них, в небольшом домике с писаными ставнями, жила горластая девушка Глашка. Колька видел ее из окна каждый день. С утра до вечера носилась быстроногая Глашка по двору: то в погреб пробежит, то гусей из ограды выгоняет, то ругается с соседкой из-за свиньи, которая забралась в огород и попортила грядки... Весь день только ее и слышно по всей окраинке.

Однажды Колька смотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Вот... была бы не такая красивая... жениться бы на ней, и все». И с того времени думал о Глашке каждый день. Это стало мучить. Какая-то сила поднимала его из-за верстачка и выводила на крыльцо.

– Глашка! – кричал он девушке. – Когда замуж-то выйдешь, телка такая?! Хоть бы гульнуть на твоей свадьбе!

– Не берет никто, Коля! – отвечала словоохотливая Глашка. – Я уж давно собралась!

«Ишь ты... какая», – думал Колька, и у него ласково темнели задумчивые серые глаза.

А над деревней синим огнем горело июльское небо. В горячих струях воздуха мерещилась сказка и радость. В воду рек опрокидывались зори и тихо гасли. И тишина стояла ночами... И сладко и больно сжимала грудь эта тишина.

Летом Колька спал в сарайчике, одна стена которого выходила на улицу.

Однажды к этой стене прислонилась парочка. Кольку ткнуло в сердце – он сразу почему-то узнал Глашку, хотя те, за стеной, долго сперва молчали. Потом он лежал и слушал их бессмысленный шепот и хихиканье. Он проклял в эту ночь свои костыли. Он плакал, уткнувшись в подушку. Он не мог больше так жить!

Когда совсем рассвело, он пошел к фельдшеру на дом. Он знал его – не один раз охотились и рыбачили вместе.

– Ты чего ни свет ни заря поднялся? – спросил фельдшер.

Колька сел на крыльцо, потыкал концом костыля в землю...

– Капсюлей нету лишних? У меня все кончились.

– Капсюлей? Надо посмотреть. – Фельдшер ушел в дом и через минуту вынес горстку капсюлей. – На.

Колька ссыпал капсюли в карман, закурил... Как-то странно внимательно, с кривой усмешкой посмотрел на фельдшера. Поднялся.

– Спасибо за капсюли.

– На здоровье. Сам бы поохотничал сейчас... – вздохнул фельдшер и почесал лысину. – Но... но отпуск только в августе.

Колька вышел за ворота, остановился. Долго стоял, глядя вдоль улицы.

Повернулся и пошел обратно.

– На капсюли-то, – сказал он фельдшеру. – У меня своих хоть отбавляй.

Фельдшер сделал брови «домиком»:

– Что-то непонятно.

Колька нахмурился.

– Посмотри ногу... хочу протез попробовать. Надоело так.

– А-а. – Фельдшер глянул Кольке в глаза... и сам смутился. – Давай ее сюда.

Вместе долго рассматривали ногу.

– Здесь чувствуешь?

– Чувствую.

– А здесь?

– Ну-ка еще... Чувствую.

– Пошевели. Еще. А теперь – вбок. Подвигай, подвигай. Так. – Фельдшер выпрямился. – Вообще-то... я тебе так скажу: попробуй. Я затрудняюсь сейчас точно сказать, но попробовать можно. Ее придется отнять вот по этих пор. Понимаешь?

– Понимаю.

– Попробуй. Сразу, может, конечно, не получится. Придется поработать. Понимаешь?

Колька пришел домой и стал собираться в дорогу – в город, в больницу. Матери не сказал, зачем едет, а отца вызвал на улицу и объяснил:

– Поеду ногу отрублю.

– То есть как? – Андрей вытаращил глаза.

– Протез хочу попробовать.

Через неделю Кольке отпилили ногу. Осталась култышка в двадцать семь сантиметров.

Когда рана малость поджила, он начал шевелить култышкой под одеялом – тренировал.

Приехал отец попроведать. Долго сидел около койки... Не смотрел на обрубок: какая-никакая, все-таки была нога. Теперь вовсе никакой.

Потом Колька, не заезжая домой, отправился в Н-ск.

Домой явился через полмесяца... С какой-то длинной штукой в мешке.

Мать так и ахнула, увидев Кольку «без ноги». Колька засмеялся...

Развязал мешок и брякнул на пол сверкающий лаком протез.

– Вот... нога. Ноженция.

Все с интересом стали разглядывать протез. А Колька стоял в сторонке и улыбался: он уже насмотрелся на него дорогой.

– Блестит весь... Господи! – сказала мать.

Отец как механик забрал протез в руки и стал детально изучать.

– Хорошая штука, – заключил он. – Не то что у деда Кузьмы – деревяшка.

Всем очень понравился протез. Все верили – и Колька верил, – что на таком-то протезе дурак пойдет. Уж очень добротно, точно, крепко, изящно он был сработан: весь так и сверкал лаком и всяческими пристежками и винтами.

– Когда попробуешь? – спросил отец, взвешивая протез на руке.

– Подживет нога хорошенько – попробую. Не велели торопиться.

Стояла темная ночь. Далеко-далеко мерцали зарницы. Колька рано ушел в свой сарай. Лег и стал ждать. Стихло во всей деревне.

Колька подождал еще немного, зажег лампу и стал надевать протез. Надел. Закурил... Курил и смотрел на протез.

– Ничего себе... ноженька. Хэх! – Улыбнулся.

Старательно погасил окуроч. Встал. Его шатнуло в сторону, как пьяного. Он удержался руками за спинку кровати. Постоял, шагнул здоровой ногой. А левую, с протезом, не мог сдвинуть. Стал падать. Опять схватился за кровать... подтянул протезную ногу. Сердце сильно колотилось.

– Ничего. Придется, конечно, поработать, – сказал сам себе.

Еще одна попытка – нет. Левая нога не шагала. Тогда Колька далеко шагнул правой и что было силы рванулся всем телом вперед, подтягивая левую. Упал. Долго лежал, вцепившись руками в землю. Левая нога не шагала. Нисколько. Даже на полшажка.

– Ну ничего... Парazitка. С непривычки... – Поднялся. Еще попытка. И еще. Нет.

Колька устал.

– Перекурим это дело. – Он говорил зло. Он уже не верил в успех, но признаться в этом было страшно. Просто невозможно. Нет! Как же?..

Покурил и снова с остервенением стал пытаться пройти на протезе. И снова – нет. Нет и нет.

Колька матерно выругался и лег на кровать. Ему бросилось в глаза ружье, висевшее на стенке, над кроватью... Он поднялся... И снова стал пробовать двигать левой ногой.

– Пойдешь, милая. Ну-ка... Оп-п! Парazitка! – тихо ругался он.

Натруженная култышка горела огнем, как сплошной нарыв. Колька отстегнул протез и стал дуть на култышку. Потом, преодолевая боль, снова пристегнул протез.

– А сейчас?.. Ну-ка!.. Опять нет?

Светало.

– Гадина, – сказал Колька и лег на кровать. И закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Чья-то сальная, безобразная морда склонилась над ним и улыбнулась поганым ртом. Колька открыл глаза... – Ах ты гадство, – тихо повторил он. И снял со стенки ружье...

Отец узнал о несчастье на другой день, к вечеру (он ездил в район насчет запасных частей). Ему сказали, когда он подъезжал к дому. Он развернул коня и погнал в больницу.

– Сейчас лучше бы не надо, – пояснил приезжему доктор. – Сейчас он...

Отец отстранил доктора и пошел в палату.

Колька лежал на спине весь забинтованный... Бледный, незнакомый какой-то – как чужой. Он был совсем безнадежный на вид. В палате пахло йодом.

Отец вспотел от горя.

– Попросил бы меня – я бы попал куда надо... Чтоб сразу уж... – Голос отца подскочил... Он вытер со лба пот, сел на табуретку рядом с кроватью.

Колька скосил на него глаза... Пошевелил губами...

– Болит? – спросил отец.

Колька прикрыл глаза: болит.

– Эх... – Отец поднялся и пошел из палаты.

– Вот как обстоит дело: все зависит от того, как сильно захочет жить он сам. Понимаете? Сам организм должен...

Отец обезумел от горя, взял доктора за грудки:

– А ты для чего здесь? Организм!..

– Не нужно так. Отпустите. Мы сделаем все, что можно будет сделать.

Отец отпустил доктора, хотел еще раз войти в палату, но перед самой дверью остановился, постоял... и пошел из больницы. Он уже далеко отошел, потом вспомнил, что приехал сюда на лошади. Вернулся, сел на дрожки, подстегнул коня...

Мать Кольки лежала в постели – захворала с горя.

– Как он там? – слабым голосом спросила она мужа, когда тот вошел в избу.

– Если помрет, тебе тоже несдобровать. Убью. Возьму топор и зарублю. – Андрей был бледный и страшный в своем отчаянии.

Мать заплакала.

– Господи, господи...

– Господи, господи!.. Только и знаешь своего господина! Одного ребенка не могла родить как следует... с двумя ногами! Я этому твоему господину шею сейчас сверну. – Андрей снял с божницы икону Николая-угодника и трахнул ее об пол. – Вот ему!.. Гад такой!

– Андрюша!.. Господи... Это из-за Глашки он. Полюбилась она ему, змея подколотая... Был парень как парень, а тут как иглу съел.

Андрей некоторое время тупо смотрел на жену.

– Какую Глашку?

– Какую Глашку!.. Одна у нас Глашка.

Андрей повернулся и побежал к Глашке.

– Дядя Андрей, миленький!.. Да неужели из-за меня это он? А что делать-то теперь?

– Он поправится. – Андрей шаркнул ладонью по щеке. – Если бы ему сказать... кхе... он бы поправился. И за такого, мол, пойду... Врач говорит: сам захочет если... Соври ему. А?

Глашка заплакала:

– Не могу я. Мне его до смерти самой жалко, а не могу. Другому сказала уж...

Андрей поднялся:

– Ты только не реви... Моду взяли: чуть чего, так реветь сразу. Не можешь, – значит, не можешь. Чего плакать-то? Не говори никому, что я был у тебя. – Андрей снова пошел в больницу.

Колька лежал в том же положении, смотрел в потолок, вытянув вдоль тела руки.

– Был сейчас дома... – Андрей погладил жесткой ладонью тугой сгиб колена... поправил голенище сапога. – К Глашке зашел по пути...

Колька повел на отца удивленные глаза.

– Плачет она. Что же, говорит, он, дурак такой, не сказал мне ничего. Я бы, говорит, с радостью пошла за него...

Колька слабо зарумянился в скулах... закрыл глаза и больше не открывал их.

Отец сидел и ждал, долго ждал: не понимал, почему сын не хочет слушать.

– Сынок, – позвал он.

– Не надо, – одними губами сказал Колька. Глаз не открыл. – Не ври, тятя... а то и так стыдно.

Андрей поднялся и пошел из палаты сгорбившись. Недалеко от больницы повстречал Глашку. Та бежала ему навстречу.

– Скажу я ему, дядя Андрей... пусть! Скажу, что согласная, – пусть поправляется.

– Не надо, – сказал Андрей. Хмуро посмотрел себе под ноги. – Он так поправится. Врать будем – хуже.

Колька поправился.

Через пару недель он уже сидел в кровати и ковырялся пинцетом в часах – сосед по палате попросил посмотреть.

В окно палаты в упор било яркое солнце. Августовский полдень вызванивал за окнами светлую тихую музыку жизни. Пахло мятой и крашеной жестью, догоряча нагретой солнцем. В больничном дворе то и дело горланил одуревший от жары петух.

– Не зря он так орет, – сказал кто-то. – Курица ему изменила. Я сам видел: подошел красный петух, взял ее под крылышко и увел.

– А этот куда смотрел, который орет сейчас?

– Этот?.. Он в командировке был – в соседней ограде.

Колька тихонько хохотал, уткнувшись в подушку. Когда его кто-нибудь спрашивал, как это с ним получилось, Колька густо краснел и отвечал неохотно:

– Нечаянно. – И склонялся к часам.

Отец каждый день приходил в больницу... Подолгу сидел на табуретке около кровати. Смотрел, как сын ковыряется в часах.

– Как там дома? – спрашивал Колька.

– Ничего. В порядке. Потеряешь колесико-то... – Отец с трудом ловил на одеяле крошечное колесико и подавал сыну.

– Это маятник называется.

– До чего же махонькое! Как только ухитряются делать такие?

– Делают. На заводе все делают.

– Меня, например, хоть убей, ни в жизнь не сделал бы такое.

Колька улыбался:

– То ты. А там умеют.

Андрей тоже улыбался... гладил ладонью колено и говорил:

– Да... там – конечно... Там умеют. Там все умеют.

Охота жить

Поляна на взгорке, на поляне – избушка. Избушка – так себе, амбар рядов в тринадцать-четырнадцать, в одно оконце, без сеней, а то и без крыши. Кто их издревле рубит по тайге?.. Приходят по весне какие-то люди, валят сосняк поровней, ошкуривают... А ближе к осени погожими днями за какую-нибудь неделю в три-четыре топора срубят. Найдется и глина поблизости, и камни – собьют камелек, трубу на крышу выведут, и нары сколотят – живи не хочу!

Зайдешь в такую избушку зимой – жилым духом не пахнет. На стенах, в пазах, куржак в ладонь толщиной, промозглый запах застоялого дыма.

Но вот затрещали в камельке поленья... Потянуло густым волглым запахом оттаивающей глины; со стен каплет. Угарно. Лучше набить полный камелек и выйти пока на улицу, нарубить загодя дровишек. Через полчаса в избушке теплее и не тяжко. Можно скинуть полушубок и натереть в камелек еще дополна. Стены слегка парят, от камелька пышет жаром. И охватывает человека некое тихое блаженство, радость. «А-а!.. – хочется сказать. – Вот так-то». Теперь уж везде почти сухо, но доски нар еще холодные. Ничего – скоро. Можно пока кинуть на них полушубок, под голову мешок с харчами, ноги – к камельку. И дремота охватит – сил нет. Лень встать и подкинуть еще в камелек. А надо.

В камельке целая огненно-рыжая горка углей. Поленья сразу вспыхивают, как бере-ста. Тут же, перед камельком, чурбачок. Можно сесть на него, закурить и – думать. Одному хорошо думается. Темно. Только из щелей камелька светится; свет этот играет на полу, на стенах, на потолке. И вспоминается бог знает что! Вспомнится вдруг, как первый раз прово-жал девку. Давно было, интересно... И сам не заметишь, что сидишь и ухмыляешься. Черт ее знает – хорошо!

Совсем тепло. Можно чайку заварить. Кирпичного, зеленого. Он травой пахнет, лето вспоминается.

Так в сумерки сидел перед камельком старик Никитич, посасывал трубочку.

В избушке было жарко. А на улице – морозно. На душе у Никитича легко. С малых лет таскался он по тайге – промышлял. Белковал, а случалось, медведя-шатуна укладывал. Для этого в левом кармане полушубка постоянно носил пять-шесть патронов с картечным зарядом. Любил тайгу. Особенно зимой. Тишина такая, что маленько давит. Но одиночество не гнетет, свободно делается; Никитич, прищурившись, оглядывался кругом – знал: он один безраздельный хозяин этого большого белого царства.

...Сидел Никитич, курил.

Прошаркали на улице лыжи, потом стихло. В оконце вроде кто-то заглянул. Потом опять скрипуче шаркнули лыжи – к крыльцу. В дверь стукнули два раза палкой.

– Есть кто-нибудь?

Голос молодой, осипший от мороза и долгого молчания – не умеет человек сам с собой разговаривать.

«Не охотник», – понял Никитич, охотник не станет спрашивать – зайдет, и все.

– Есть!

Тот, за дверью, отстегнул лыжи, приставил их к стене, скрипнул ступенькой крыльца... Дверь приоткрылась, и в белом облаке пара Никитич едва разглядел высокого парня в подпоясанной стеганке, в ватных штанах, в старой солдатской шапке.

– Кто тут?

– Человек. – Никитич поджег лучину, поднял над головой.

Некоторое время молча смотрели друг на друга.

– Один, что ли? – спросил пришелец.

– Один. Проходи, чего в дверях расшиперился!

Парень прошел к камельку, снял рукавицы, взял их под мышку, протянул руки к плите.

– Мороз, черт его...

– Мороз. – Тут только заметил Никитич, что парень без ружья. Нет, не охотник. Не похож. Ни лицом, ни одежкой. – Март – он ишо свое возьмет.

– Какой март? Апрель ведь.

– Это по-новому. А по-старому – март. У нас говорят: марток – надевай двое порток. Легко одетый. – Что ружья нет, старик промолчал.

– Ничего, – сказал парень. – Один здесь?

– Один. Ты уж спрашивал.

Парень ничего не сказал на это.

– Садись. Чайку щас поставим.

– Отогреюсь малость... – Выговор у парня не здешний, «расейский». Старика разбирало любопытство, но вековой обычай – не лезть сразу с расспросами – был сильнее любопытства.

Парень отогрел руки, закурил папироску.

– Хорошо у тебя. Тепло.

Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его красивое бледное лицо с пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот – сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Борода аккуратная, чуть кучерявится на скулах... Исхудал... Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку, внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился: прямой, смелый... И какой-то «стылый» – так определил Никитич.

– Садись, чего стоять-то?

Парень улыбнулся:

– Так не говорят, отец. Говорят – присаживайся.

– Ну – присаживайся. А пошто не говорят? У нас говорят.

– Присесть можно. Никто не придет еще?

– Теперь кто? Поздно. А придет, места хватит. – Никитич подвинулся на пеньке, парень присел рядом, опять протянул руки к огню. Руки – не рабочие. Но парень, видно, здоровый. И улыбка его понравилась Никитичу – не «охальная», простецкая, сдержанная. Да еще эти зубы золотые... Красивый парень. Сбрей ему сейчас бородку, надень костюмчик – учитель. Никитич очень любил учителей.

– Иолог какой-нибудь? – спросил он.

– Кто? – не понял парень.

– Ну... эти, по тайге-то ищут...

– А-а... Да.

– Как же без ружьишка-то? Рыск.

– Отстал от своих, – неохотно сказал парень. – Деревня твоя далеко?

– Верст полтораста.

Парень кивнул головой, прикрыл глаза, некоторое время сидел так, наслаждаясь теплом, потом встряхнулся, вздохнул:

– Устал.

– Долго один-то идешь?

– Долго. У тебя выпить нету?

– Найдется.

Парень оживился:

– Хорошо! А то аж душа трясется. Замерзнуть, к черту, можно. Апрель называется...

Никитич вышел на улицу, принес мешочек с салом. Засветил фонарь под потолком.

– Вас бы хошь учили маленько, как быть в тайге одному... А то посылают, а вы откуда знаете! Я вон лонись¹ нашел одного – вытаял весной. Молодой тоже. Тоже с бородкой. В одеяло завернулся – и все, и очурился. – Никитич нарезал сало на краешке нар. – А меня пусти одного, я всю зиму проживу, не охну. Только бы заряды были. Да спички.

– В избушку-то все равно лезешь.

– Дак а раз она есть, чего же мне на снегу-то валяться? Я не лиходея себе.

Парень распоясался, снял фуфайку... Прошелся по избушке. Широкоплечий, статный. Отогрелся, взгляд потеплел – рад, видно, до смерти, что набрел на тепло, нашел живую душу. Еще закурил одну. Папиросами хорошо пахло. Никитич любил поговорить с городскими людьми. Он презирал их за беспомощность в тайге; случалось, подрабатывал, проводя какую-нибудь поисковую партию, в душе подсмеивался над ними, но любил слушать их разговоры и охотно сам беседовал. Его умиляло, что они разговаривают с ним ласково, снисходительно похихатывают, а сами, оставь их одних, пропадут, как сосунки слепые. Еще интересней, когда в партии – две-три девки. Терпят, не жалуются. И всё вроде они такие же и никак не хотят, чтоб им помогали. Спят все в куче. И ничего – не безобразничают. Доведись до деревенских – греха не оберешься. А эти – ничего. А ведь бывают – одно загляденье: штаны узкие наденет, кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, вся кругленькая – кукла и кукла. А ребята – ничего, как так и надо.

– Кого ищите-то?

– Где?

– Ну, ходите-то.

Парень усмехнулся себе:

– Долю.

– Доля... Она, брат, как налим, склизкая: вроде ухватил ее, вроде – вот она, в руках, а не тут-то было. – Никитич настроился было поговорить, как обычно с городскими – позаковыристей, когда внимательно слушают, когда слушают и переглядываются меж собой, а какой-нибудь возьмет да еще в тетрадку карандашиком чего-нибудь запишет. А Никитич может рассуждать таким манером хоть всю ночь – только развесь уши. Свои бы, деревенские, боталом обозвали, а эти слушают. Приятно. И сам иногда подумает о себе: складно выходит, язвиста. Такие туры разведет, что тебе поп раньше. И лесины-то у него с душой: не тронь ее, не секи топором зазря, а то засохнет, а засохнет, сам засохнешь – тоска навалится и засохнешь, и не догадаешься, отчего тоска такая. – Или вот: понаедут из города с ружьями и давай направо-налево: трах-бах! – кого попало: самку – самку, самца – самца, лишь бы убить. За такие дела надо руки выдергивать. Убил ты ее, медведицу, а у ей двое маленьких. Подохнут. Поганое дело – душу на зверье тешить. Вот те и доля – ты говоришь, – продолжал Никитич.

Только парню не хотелось слушать. Подошел к окну, долго всматривался в темень. Сказал, как очнулся:

– Все равно весна скоро.

– Придет, никуда не денется. Садись. Закусим, чем бог послал.

Натаили в котелке снегу, разбавили спирт, выпили. Закусили мерзлым салом. Совсем на душе хорошо сделалось. Никитич подкинул в камелек. А парня опять потянуло к окну. Отогрел дыханием кружок на стекле и все смотрел и смотрел в ночь.

– Кого ты щас там увидишь? – удивился Никитич. Ему хотелось поговорить.

– Воля, – сказал парень. И вздохнул. Но не грустно вздохнул. И про волю сказал – крепко, зло и напористо. Откачнулся от окна.

– Дай еще выпить, отец. – Расстегнул ворот черной сатиновой рубахи, громко хлопнул себя по груди широкой ладонью, погладил. – Душа просит.

¹ В прошлом году.

– Поел бы, а то с голодухи-то развезет.
– Не развезет. Меня не развезет. – И ласково и крепко приобнял старика за шею. И пропел:

А в камере смертной,
Сырой и холодной,
Седой появился старик...

И улыбнулся ласково. Глаза у парня горели ясным, радостным блеском.
– Выпьем, добрый человек!
– Наскучал один-то, – Никитич тоже улыбнулся. Парень все больше и больше нравился ему. Молодой, сильный, красивый. А мог пропасть. – Так, парень, пропасть можно. Без ружьишка в тайге – поганое дело.

– Не пропадем, отец. Еще проживем!

И опять сказал это крепко, и на миг глаза его заглянули куда-то далеко-далеко и опять «остыли». И непонятно было, о чем он подумал, как будто что-то вспомнил. Но вспоминать ему это «что-то» не хотелось. Запрокинул стакан, одним глотком осушил до дна. Крякнул. Крутнул головой. Пожевал сала. Закурил. Встал – не сиделось. Прошелся широким шагом по избушке, остановился посередине, подбоченился и опять куда-то далеко засмотрелся.

– Охота жить, отец.

– Жить всем охота. Мне, думаешь, неохота? А уж мне скоро...

– Охота жить! – упрямо, с веселой злостью повторил большой красивый парень, не слушая старика. – Ты ее не знаешь, жизнь. Она... – Подумал, стиснул зубы: – Она – дорогуша. Роднуля моя.

Захмелевший Никитич хихикнул:

– Ты про жись, как все одно про бабу.

– Бабы – дешевки. – Парня накаляло какое-то упрямое, дерзкое, радостное чувство. Он не слушал старика, говорил сам, а тому теперь хотелось его слушать. Властная сила парня стала и его подмывать.

– Бабы, они... конечно. Но без них тоже...

– Возьмем мы ее, дорогушу, – парень выкинул вперед руки, сжал кулаки, – возьмем, милую, за горлышко... Помнишь Колю? Забыла? – Парень с кем-то разговаривал и очень удивился, что его «забыли». – Колю-то!.. А Коля помнит тебя. Коля тебя не забыл. – Он не то радовался, не то собирался кому-то зло мстить. – А я – вот он. Прошу, мадам, на пару ласковых. Я не обижу. Но ты мне отдашь все. Все! Возьму!..

– Правда, што ли, баба так раскипятила? – спросил удивленный Никитич.

Парень тряхнул головой:

– Эту бабу зовут – воля. Ты тоже не знаешь ее, отец. Ты – зверь, тебе здесь хорошо. Ты не знаешь, как горят огни в большом городе. Они манят. Там милые, хорошие люди, у них тепло, мягко, играет музыка. Они вежливые и очень боятся смерти. А я иду по городу, и он весь мой. Почему же они там, а я здесь? Понимаешь?

– Не навечно же ты здесь...

– Не понимаешь. – Парень говорил серьезно, строго. – Я должен быть там, потому что я никого не боюсь. Я не боюсь смерти. Значит, жизнь – моя.

Старик качнул головой:

– Не пойму, паря, к чему ты?

Парень подошел к нарам, налил в стаканы. Он как будто сразу устал.

– Из тюрьмы бегу, отец, – сказал без всякого выражения. – Давай?

Никитич машинально звякнул своим стаканом о стакан парня. Парень выпил. Посмотрел на старика... Тот все еще держал стакан в руке. Глядел снизу на парня.

– Что?

– Как же это?

– Пей, – велел парень. Хотел еще закурить, но пачка оказалась пустой. – Дай твоего.

– У меня листовуха.

– Черт с ней.

Закурили. Парень присел на чурбак, ближе к огню.

Долго молчали.

– Поймают вить, – сказал Никитич. Ему не то что жаль стало парня, а он представил вдруг, как ведут его, крупного, красивого, под ружьем. И жаль стало его молодость, и красоту, и силу. Сцапают – и все, все псу под хвост: никому от его красоты ни жарко ни холодно. Зачем же она была? – Зря, – сказал он трезво.

– Чего?

– Бежишь-то. Теперь не ранешное время – поймают.

Парень промолчал. Задумчиво смотрел на огонь. Склонился. Подкинул в камелек полено.

– Надо бы досидеть... Зря.

– Перестань! – резко оборвал парень. Он тоже как-то странно отрезвел. – У меня своя башка на плечах.

– Знамо дело, – согласился Никитич. – Далеко идти-то?

– Помолчи пока.

«Мать с отцом есть, наверно, – подумал Никитич, глядя в затылок парню. – Придет – обрадует, сукин сын».

Минут пять молчали. Старик выколотил золу из трубочки и набил снова. Парень все смотрел на огонь.

– Деревня твоя – райцентр или нет? – спросил он, не оборачиваясь.

– Какой райцентр! До району от нас еще девяносто верст. Пропадешь ты. Зимнее дело – по тайге...

– Дня три поживу у тебя – наберусь силенок, – не попросил, просто сказал.

– Живи, мне што. Много, видно, оставалось – не утерпел?

– Много.

– А за што давали?

– Такие вопросы никому никогда не задавай, отец.

Никитич попытался угасающей трубочкой, раскурил, затянулся и закашлялся. Сказал, кашляя:

– Мне што!.. Жалко только. Поймают...

– Бог не выдаст – свинья не съест. Дешево меня не возьмешь. Давай спать.

– Ложись. Я подожду, пока дровишки прогорят, – трубу закрыть. А то замерзнем к утру.

Парень расстелил на нарах фуфайку, поискал глазами, что положить под голову. Увидел на стене ружье Никитича. Подошел, снял, осмотрел, повесил.

– Старенькое.

– Ничо, служит пока. Вон там в углу кошма лежит, ты ее под себя, а куфайку-то под голову сверни. А ноги вот сюда протяни, к камельку. К утру все одно выстынет.

Парень расстелил кошму, вытянулся, шумно вздохнул.

– Маленький Ташкент, – к чему-то сказал он. – Не боишься меня, отец?

– Тебя-то? – изумился старик. – А чего тебя бояться?

– Ну... я ж лагерник. Может, за убийство сидел.

– За убийство тебя бог накажет, не люди. От людей можно побегать, а от его не уйдешь.

– Ты верующий, что ли? Кержак, наверно?

– Кержак!.. Стал бы кержак с тобой водку пить.

– Это верно. А насчет боженок ты мне мозги не... Меня тошнит от них. – Парень говорил с ленцой, чуть осевшим голосом. – Если бы я встретил где-нибудь этого вашего Христа, я бы ему с ходу кишки выпустил.

– За што?

– За што?.. За то, что сказки рассказывал, врал. Добрых людей нет! А он – добренький, терпеть учил. Паскуда! – Голос парня снова стал обретать недавнюю крепость и злость. Только веселости в голосе уже не было. – Кто добрый?! Я? Ты?

– Я, к примеру, за свою жись никому никакого худа не сделал...

– А зверей бьешь! Разве он учил?

– Сравнил хрен с пальцем. То – человек, а то – зверь.

– Живое существо – сами же трепетесь, сволочи.

Лица парня Никитич не видел, но оно стояло у него в глазах – бледное, с бородкой; дико и нелепо звучал в теплой тишине избушки свирепый голос безнадежно избитого судьбой человека с таким хорошим, с таким прекрасным лицом.

– Ты чего рассерчал-то на меня?

– Не врите! Не обманывайте людей, святоши. Учили вас терпеть? Терпите! А то не успеет помолиться и тут же штаны спускает – за бабу хляет, гадина. Я бы сейчас нового Христа выдумал: чтоб он по морде учил бить. Врешь? Получай, погань!

– Не поганься! – строго сказал Никитич. – Пустили тебя, как доброго человека, а ты лаяться начал. Обиделся – посадили! Значит, было за што. Кто тебе виноват?!

– М-м. – Парень скрипнул зубами. Промолчал.

– Я не поп, и здесь тебе не церква, чтобы злобой своей харкать. Здесь – тайга: все одинаковые. Помни это. А то и до воли своей не добежишь – сломишь голову. Знаешь, говорят: молодец – против овец, а спроть молодца – сам овца. Найдется и на тебя лихой человек. Обидишь вот так вот – ни за што ни про што, он тебе покажет, где волю искать.

– Не сердись, отец, – примирительно сказал парень. – Ненавижу, когда жить учат. Душа кипит! Суют в нос слякоть всякую, глистов: вот хорошие, вот как жить надо. Ненавижу! – почти крикнул. – Не буду так жить. Врут! Мертвечиной пахнет! Нету на земле святых! Я их не видел. Зачем выдумывать?! – Парень привстал на локоть; смутно – пятном – белело в сумраке, в углу, его лицо, зло и жутковато сверкали глаза.

– Поостынешь маленько, поймешь: не было бы добрых людей, жись ба давно остановилась. Сожрали бы друг друга или перерезались. Это никакой меня не Христос учил, сам так питаю. А святых – это верно: нету. Я сам вроде ничо? – никто не скажет: плохой или злой там. А молодой был... Недалеко тут кержацкий скит стоял, за согрой, семья жила: старик со старухой да дочь ихняя годов двадцати. Они, может, не такие уж старые были, старики-то, а мне казалось тогда – старые. Они потом ушли куда-то. Ну, дак вот: была у их дочь. Все божественные, спасу нет: от людей ушли, от греха, дескать, подальше. А я эту дочь-то заманил раз в березник и... это... ла-ла с ей. Хорошая девка была, здоровая. До ребенка дело дошло. А уж я женатый был...

– А говоришь, худого ничего не делал?

– Вот и выходит, што я не святой. Я не насильничал, правда, лаской донял, а все одно... дитя-то пустил по свету. Спомнишь – жалко. Большой уж теперь, материт, поди.

– Жизнь дал человеку – не убил. И ее, может, спас. Может, она после этого рванула от них. А так довели бы они ее своими молитвами: повесилась бы на суку где-нибудь, и все. И мужика бы ни разу не узнала. Хорошее дело сделал, не переживай.

– Хорошее или плохое, а было так. Хорошего-то мало, конечно.

– Там еще осталось?

– Спиртяги? Есть маленько. Пей, я не хочу больше.

Парень выпил. Опять крякнул. Не стал закусывать.

– Много пьешь-то?

– Нет, это... просто перемерз. Пить надо не так, отец. Надо красиво пить. Музыка... Хорошие сигареты, шампанское... Женщины. Чтоб тихо, культурно. – Парень опять размечтался, лег, закинул руки за голову. – Бардаки презираю. Это не люди – скот. М-м, как можно красиво жить! Если я за одну ночь семь раз заигрывал с курносой – так? – если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб, – я устаю. Я потом отдыхаю. Я наслаждаюсь и люблю жизнь больше всех прокуроров, вместе взятых. Ты говоришь – риск? А я говорю – да. Пусть обмирает душа, пусть она дрожит, как овечий хвост, – я иду прямо, я не споткнусь и не поверну назад.

– Ты кем работал до этого? – поинтересовался Никитич.

– Я? Агентом по снабжению. По культурным связям с зарубежными странами. Вообще я был ученый. Я был доцентом на тему: «Что такое колорадский жук и как с ним бороться». – Парень замолчал, а через минуту сонным голосом сказал: – Все, отец... Я ушел.

– Спи.

Никитич пошуровал короткой клюкой в камельке, набил трубочку и стал думать про парня. Вот тебе и жизнь – все дадено человеку: красивый, здоровый, башка вроде недурная... А что? Дальше что? По лесам бегать? Нет, это город их доводит до ручки. Они там свихнулись все. Внуки Никитича – трое – тоже живут в большом городе. Двое учатся, один работает, женат. Они не хвастают, как этот, но их тянет в город. Когда они приезжают летом, им скучно. Никитич достает ружья, водит их в тайгу и ждет, что они просветлеют, отдохнут душой и проветрят мозги от ученья. Они притворяются, что им хорошо, а Никитичу становится неловко: у него больше ничего нет, чем порадовать внуков. Ему тяжело становится, как будто он обманул их. У них на уме город. И этот, на нарах, без ума в город рвется. На его месте надо уйти подальше, вырыть землянку и лет пять не показываться, если уж сидеть невмоготу стало. А он снова туда, где на каждом шагу могут за шкурку взять. И ведь знает, что возьмут, а идет. Что за сила такая в этом городе! Ну ладно, я – старик, я бывал там три раза всего, я не понимаю... Согласен. Там весело и огней много. Но раз я не понимаю, так я и не хаю. Охота – там? На здоровье. А мне здесь хорошо. Но так получается, что они приходят оттуда и нос воротят: скучно, тоска. Да присмотрись хорошенько! Ты же увидишь-то ничего не успел, а уж давай молоть про свой город. Да ты возьми приглядишься для интереса! А потом подумай: много ты про жизнь знаешь или нет? Вы мне – сказки про город?.. А если я начну рассказывать, сколько я знаю! Но меня не слушают, а на вас глаза пялят – городской. А мне хрен с тобой, что ты городской, что ты штиблетами по тротуару чиркаешь – форсите. Дофорсился вот: отвалили лет пятнадцать, наверно, за красивую-то жизнь. Магазин, наверно, подломил, не иначе. Шиканул разок – и загремел. И опять на рога лезет. Сам! Это уж, значит, не может без города. Опять на какой-нибудь магазин нацелился. «Шампанское...» А откуда оно, шампанское-то, возьмется? Дурачье... Сожрет он вас, город, с костями вместе. И жалко дураков, и ничего сделать нельзя. Не докажешь.

Дрова в камельке догорели. Никитич дождался, когда последние искорки умерли в золе, закрыл трубу, погасил фонарь, лег рядом с парнем. Тот глубоко и ровно дышал, неловко подвернув под себя руку. Даже не шевельнулся, когда Никитич поправил его руку.

«Намаялся, – подумал Никитич. – Дурило... А кто заставляет? Эх, вы!»

...За полночь на улице, около избушки, зашумели. Послышались голоса трех мужчин.

Парень рывком привстал – как не спал. Никитич тоже приподнял голову.

– Кто это? – быстро спросил парень.

– Шут их знает.

Парень рванулся с нар – к двери, послушал, зашарил рукой по стене – искал ружье. Никитич догадался.

– Ну-ка, не дури! – прикрикнул негромко. – Хуже беды наделаешь.

– Кто это? – опять спросил парень.

– Не знаю, тебе говорят.

– Не пускай, закройся.

– Дурак. Кто в избушке закрывается. Нечем закрываться-то. Ложись и не шевелись.

– Ну дед!..

Парень не успел досказать. Кто-то поднялся на крыльцо, искал рукой скобку. Парень ужом скользнул на нары, успел шепнуть:

– Отец, клянусь богом, чертом, дьяволом: продашь... Умоляю, старик. Век...

– Лежи, – велел Никитич.

Дверь распахнулась.

– Ага! – весело сказал густой бас. – Я же говорил: кто-то есть. Тепло! Входите!

– Закрывай дверь-то! – сердито сказал Никитич, слезая с нар. – Обрадовался – тепло!

Раскорячась пошире – совсем жарко будет.

– Все в порядке, – сказал бас. – И тепло, и хозяин приветливый.

Никитич засветил фонарь.

Вошли еще двое. Одного Никитич знал: начальник районной милиции. Его все охотники знали: мучил охотничьими билетами и заставлял платить взносы.

– Емельянов? – спросил начальник, высокий упитанный мужчина лет под пятьдесят. – Так?

– Так, товарищ Протокин.

– Ну, вот!.. Принимай гостей.

Трое стали раздеваться.

– Пострелять? – не без иронии спросил Никитич. Он не любил этих наезжающих стрелков: только пошумят и уедут.

– Надо размяться маленько. А это кто? – Начальник увидел парня на нарах.

– Иолог, – нехотя пояснил Никитич. – От партии отстал.

– Заблудился, что ли?

– Но.

– У нас что-то неизвестно. Куда шли, он говорил?

– Кого он наговорит! – едва рот разевал: замерзал. Спиртом напоил его – щас спит как мертвый.

Начальник зажег спичку, поднес близко к лицу парня. У того не дрогнул ни один мускул. Ровно дышал.

– Накачал ты его. – Спичка начальника погасла. – Что же у нас-то ничего не известно?

– Может, не успели еще сообщить? – сказал один из пришедших.

– Да нет, видно, долго бродит уже. Не говорил он, сколько один ходит?

– Нет, – отвечивал Никитич. – Отстал, говорит. И все.

– Пусть проспится. Завтра выясним. Ну что, товарищи: спать?

– Спать, – согласились двое. – Уместимся?

– Уместимся, – уверенно сказал начальник. – Мы прошлый раз тоже впятером были.

Чуть не загнулись к утру: протопили, да мало. А мороз стоял – под пятьдесят.

Разделись, улеглись на нарах. Никитич лег опять рядом с парнем.

Пришлые поговорили еще немного о своих районных делах и замолчали.

Скоро все спали.

...Никитич проснулся, едва только обозначилось в стене оконце. Парня рядом не было. Никитич осторожно слез с нар, нашарил в карманах спички. Еще ни о чем худом не успел

подумать. Чиркнул спичкой... Ни парня, ни фуфайки его, ни ружья Никитича не было. Неприятно сжало под сердцем.

«Ушел. И ружье взял».

Неслышно оделся, взял одно ружье из трех, составленных в углу, пощупал в кармане патроны с картечью. Тихо открыл дверь и вышел.

Только-только занимался рассвет. За ночь потеплело. Туманная хмарь застила слабую краску зари. В пяти шагах еще ничего не было видно. Пахло весной.

Никитич надел свои лыжи и пошел по свежей лыжне, четко обозначенной в побуревшем снегу.

– Сукин ты сын, варнак окаянный, – вслух негромко ругался он. – Уходи, пес с тобой, а ружье-то зачем брать? Што я тут без ружья делать стану, ты подумал своей башкой? Што я, тыщи, што ли, большие получаю – напасаться на вас на всех ружьями? Ведь ты же его, поганец, все равно бросишь где-нибудь. Тебе лишь бы из тайги выйти. А я сиди тут, сложа ручки, без ружья. Ни стыда у людей, ни совести.

Помаленьку отбеливало. День обещал быть пасмурным и теплым.

Лыжня вела не в сторону деревни.

– Боишься людей-то? Эх, вы... «Красивая жись». А последнее ружьишко у старика взять – это ничего, можно. Но от меня ты не уйде-ошь, голубчик. Я вас таких семерых замонтаю, хоть вы и молодые.

Зла большого у старика не было. Обидно было: пригрел человека, а он взял и унес ружье. Ну не подлец после этого!

Никитич прошел уже километра три. Стало совсем почти светло; лыжня далеко была видна впереди.

– Рано поднялся. И ведь как тихо сумел!

В одном месте парень останавливался закурить: обочь лыжни ямка – палки втыкал. На снегу крошки листовухи и обгоревшая спичка.

– И кисет прихватил! – Никитич зло плюнул. – Вот поганец так поганец! – Прибавил шаг.

Парня Никитич увидел далеко в ложбине, внизу. Шел парень дельным ровным шагом, не торопился, но податливо. За спиной – ружье.

– Ходить умеет, – не мог не отметить Никитич. Свернул с лыжни и побежал в обход парню, стараясь, чтоб его скрывала от него вершина длинного отлогого бугра. Он знал, где встретит парня: будет на пути у того неширокая просека. Он пройдет ее, войдет снова в чащу... И тут его встретит Никитич.

– Щас я на тебя посмотрю, – не без злорадства приговаривал Никитич, налегая вовсю на палки. Странно, но ему очень хотелось еще раз увидеть прекрасное лицо парня. Что-то было до страсти привлекательное в этом лице. «Может, так и надо, что он рвется к своей красивой жизни. Что ему тут делать, если подумать? Засохнет. Жизнь, язви ее, иди разберись».

У просеки Никитич осторожно выглянул из чащи: лыжни на просеке еще не было – обогнал. Быстро перемахнул просеку, выбрал место, где примерно выйдет парень, присел в кусты, проверил заряд и стал ждать. Невольно опытным охотничьим глазом осмотрел ружье: новенькая тулка, блестит и резко пахнет ружейным маслом. «На охоту собирались, а не подумали: не надо, чтоб ружье так пахло. На охоте надо и про табачок забыть, и рот чаем прополоскать, чтобы от тебя не разило за версту, и одежду лучше всего другую надеть, которая на улице висела, чтоб жильем не пахло. Охотники – горе луковое».

Парень вышел на край просеки, остановился. Глянул по сторонам. Постоял немного и скоро-скоро побежал через просеку. И тут навстречу ему поднялся Никитич.

– Стой! Руки вверх! – громко скомандовал он, чтоб совсем ошарашить парня. Тот вскинул голову, и в глазах его отразился ужас. Он дернулся было руками вверх, но узнал Никитича. – Говоришь: не боюсь никого, – сказал Никитич, – а в штаны сразу накла.

Парень скоро оправился от страха, улыбнулся обаятельной своей улыбкой немножко насильственно.

– Ну, отец... ты даешь. Как в кино... твою в душу мать. Так можно разрыв сердца получить.

– Теперь, значит, так, – деловым тоном распорядился Никитич, – ружье не сымай, а достань сзади руками, переломи и выкинь из казенника патроны. И из кармана все выбрось. У меня их шешнацать штук оставалось. Все брось на снег, а сам отойди в сторону. Если задумаешь шутки шутить, стреляю. Сурьезно говорю.

– Дошло, батя. Шутить мне сейчас что-то не хочется.

– Бесстыдник, ворюга.

– Сам же говорил: погано в лесу без ружья.

– А мне што тут без его делать?

– Ты дома.

– Ну, давай, давай. Дома. Што у меня дома-то – завод, што ли?

Парень выгреб из карманов патроны – четырнадцать: Никитич считал. Потом заломил руки за спину; прикусив нижнюю губу, прищурившись, внимательно глядел на старика. Тот тоже не сводил с него глаз: ружье со взведенными курками держал в руках, стволами на уровне груди парня.

– Чего мешкаешь?

– Не могу вытащить...

– Ногтями зацепи... Или постучи кулаком по прикладу.

Выпал сперва один патрон, потом второй.

– Вот. Теперь отойди вон туда.

Парень повиновался.

Никитич собрал патроны, поклат в карманы полушубка.

– Кидай мне ружье, а сам не двигайся.

Парень снял ружье, бросил старику.

– Теперь садись, где стоишь, покурим. Кисет мне тоже кинь. И кисет спер...

– Курить-то охота мне.

– Ты вот все – мне да мне. А про меня, черт полосатый, не подумал! А чего мне-то курить?

Парень закурил.

– Можно я себе малость отсыплю?

– Отсыпь. Спички-то есть?

– Есть.

Парень отсыпал себе листовухи, бросил кисет старику. Тот закурил тоже.

Сидели шагах в десяти друг от друга.

– Ушли эти?... Ночные-то.

– Спят. Они спать здоровы. Не охотничают, а дурочку валяют. Погулять охота, а в рай-оне у себя не шибко разгуляешься – на виду. Вот они и идут с глаз долой.

– А кто они?

– Начальство... Заряды зря переводют.

– М-да...

– Ты што же думал: не догоню я тебя?

– Ничего я не думал. А одного-то ты знаешь. Кто это? По фамилии называл... Прото-кин-то.

- В собесе работает. Пенсию старухе хлопотал, видел его там...
- Парень пытливо посмотрел на старика.
- Это там, где путевки на курорт выписывают?
- Ага.
- Темнишь, старичок. Неужели посадить хочешь? Из-за ружья...
- На кой ты мне хрен нужен – сажать? – искренне сказал Никитич.
- Продай ружье? У меня деньги есть.
- Нет, – твердо сказал Никитич. – Спросил бы с вечера по добру, может, продал бы. А раз ты так по-свински сделал – не продам.
- Не мог же я ждать, когда они проснутся.
- На улицу бы меня ночью вызвал: так и так, мол, отец: мне шибко неохота с этими людьми разговаривать. Продай, мол, ружье – я уйду. А ты... украл. За воровство у нас руки отрубают.
- Парень положил локти на колени, склонился головой на руки. Сказал глуховато:
- Спасибо, что не выдал вчера.
- Не дойдешь ты до своей воли все одно.
- Парень вскинул голову.
- Почему?
- Через всю Сибирь идти – шутка в деле!
- Мне только до железной дороги, а там поезд. Документы есть. А вот здесь без ружья... здесь худо. Продай, а?
- Нет, даже не упрашивай.
- Я бы теперь новую жизнь начал... Выручил бы ты меня, отец.
- А документы-то где взял? Ухлопал, поди, кого-нибудь?
- Документы тоже люди делают.
- Фальшивые. Думаешь, не поймают с фальшивыми?
- Ты обо мне... прямо как родная мать заботишься. Заладил, как попугай: поймают, поймают. А я тебе говорю: не поймают.
- А шампанская-то на какие шиши будешь распивать? Если честно-то робить пой-дешь...
- Сдуру я вчера натрепался, не обращай внимания. Захмелел.
- Эх, вы... – Старик сплюнул желтую едкую слюну на снег. – Жить бы да жить вам, молодым... а вас... как этих... как угорелых по свету носит, места себе не можете найти. Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, оканные. Петух жареный в зад не клевал...
- Как сказать, отец...
- Кто же тебе виноватый?
- Хватит об этом, – попросил парень. – Слушай... – Он встревоженно посмотрел на старика. – Они ж сейчас проснутся, а ружья нет. И нас с тобой нет... Искать кинутся?
- Они до солнышка не проснутся.
- Откуда ты знаешь?
- Знаю. Они сами вчера с похмелья были. В избушке теплынь: разморит – до обеда проспят. Им торопиться некуда.
- М-да... – грустно сказал парень. – Дела-делишки.
- Повалил вдруг снег большими густыми хлопьями, теплый, тяжелый.
- На руку тебе. – Никитич посмотрел вверх.
- Что? – Парень тоже посмотрел вверх.
- Снег-то... Заметет все следы.
- Парень подставил снегу ладонь, долго держал. Снежинки таяли на ладони.

– Весна скоро... – вздохнул он.

Никитич посмотрел на него, точно хотел напоследок покрепче запомнить такого редкостного здесь человека. Представил, как идет он один, ночью... без ружья.

– Как ночуешь-то?

– У огня покемарю... Какой сон.

– Хоть бы уж летом бегали-то. Все легче.

– Там заявок не принимают – когда бежать легче. Со жратвой плохо. Пока дойдешь от деревни до деревни, кишки к спине прирастают. Ну ладно. Спасибо за хлеб-соль. – Парень поднялся. – Иди, а то проснутся эти твои...

Старик медлил.

– Знаешь... есть один выход из положения, – медленно заговорил он. – Дам тебе ружье. Ты завтра часам к двум, к трем ночи дойдешь до деревни, где я живу...

– Ну?

– Не понужай. Дойдешь. Постучишь в какую-нибудь крайнюю избу: мол, ружье нашел... или... нет, как бы придумать?.. Чтоб ты ружье-то оставил. А там, от нашей деревни прямая дорога на станцию – двадцать верст. Там уж не страшно. Машины ездят. К свету будешь на станции. Только там заимка одна попадется, от нее, от заимки-то, ишо одна дорога влево пойдет, ты не ходи по ей – это в район. Прямо иди.

– Отец...

– погоди! Как с ружьем-то быть? Скажешь: нашел – перепугаются, искать пойдут. А совсем ружье отдавать жалко. Мне за него, хоть оно старенькое, три вот таких не надо. – Никитич показал на новую переломку.

Парень благодарно смотрел на старика и еще старался, наверно, чтобы благодарности в глазах было больше.

– Спасибо, отец.

– Чего спасибо! Как я ружье-то получу?

Парень встал, подошел к старику, присел рядом.

– Сейчас придумаем... Я его спрячу где-нибудь, а ты возьмешь потом.

– Где спрячешь?

– В стогу каком-нибудь, недалеко от деревни.

Никитич задумался.

– Чего ты там разглядишь ночью?.. Вот што: постучишь в крайнюю избу, спросишь, где Мазаев Ефим живет. Тебе покажут. Это кум мой. Ефиму придешь и скажешь: стретил, мол, Никитича в тайге, он повел иологов в Змеиную согру. Патроны, мол, у него кончились, а чтоб с ружьем зря не таскаться, он упросил меня занести его тебе. И чтоб ждали меня к послезавтрему! А што я повел иологов, пусть он никому не говорит. Заработает, мол, придет – выпьете вместе, а то старуха все деньги отберет сразу. Запомнил? Щас мне давай на литровку – а то от Ефима потом не отвяжешься – и с богом. Патронов даю тебе... шесть штук. И два картечных – на всякий случай. Не истратишь, возле деревни закинь в снег подальше. Ефиму не отдавай, он хитрый, зачует неладное. Все запомнил?

– Запомнил. Век тебя не забуду, отец.

– Ладно... На деревню держись так: солнышко выйдет – ты его все одно увидишь – пусть оно сперва будет от тебя слева. Солнышко выше, а ты его все слева держи. А к закату поворачивай, чтоб оно у тебя за спиной очутилось, чуток с правого уха. А там – прямо. Ну, закурим на дорожку...

Закурили.

Сразу как-то не о чем стало говорить. Посидели немного, поднялись.

– До свиданья, отец, спасибо.

– Давай.

И уж пошли было в разные стороны, но Никитич остановился, крикнул парню:

– Слышь!.. А вить ты, парень, чуток не вляпался: Протокин-то этот – начальник милиции. Хорошо, не разбудил вчера... А то бы не отвертеться тебе от него – дошлый черт. И сейчас, должно, прилипнет. Скажет: «Куда ушел?» То, се...

Парень ничего не говорил, смотрел на старика.

– А вчера же никакие бы документы не помогли.

Парень молчал.

– Ну шагай. – Никитич подкинул на плече чужое ружье и пошел через просеку назад, к избушке. Он уж почти прошел ее всю, просеку... И услышал: как будто над самым ухом оглушительно треснул сук. И в то же мгновение сзади, в спину и в затылок, как в несколько кулаков, сильно толкнули вперед. Он упал лицом в снег. И ничего больше не слышал и не чувствовал. Не слышал, как с него сняли ружье и закидали снегом. И как сказали: «Так лучше, отец. Надежней».

...Когда солнышко вышло, парень был уже далеко от просеки. Он не видел солнца, шел, не оглядываясь, спиной к нему. Он смотрел вперед.

Тихо шуршал в воздухе сырой снег.

Тайга просыпалась. Весенний густой запах леса чуть дурманил и кружил голову.

Капроновая елочка

Двое стояли на тракте, ждали попутную машину. А машин не было. Час назад проехали две груженные – не остановились. И больше не было. А через восемь часов – Новый год. Двое, отвернувшись от ветра, топтались на месте, хлопали рукавицами... Было морозно.

– Кхах!.. Не могу больше, – сказал один. – Айда греться, ну ее к черту все. Что теперь, подышать, что ли?

Метрах в двухстах была чайная, туда они и направились.

Впереди, припадая на одну ногу, шагал тот, который предложил идти греться. При своей хромоте он шел как-то очень аккуратно, ловко, ладно. Следом, заложив руки за спину, вышагивал мужик метра в два ростом. Шагавший впереди то и дело оглядывался на тракт; второй сосредоточенно смотрел себе под ноги. Оба были из одной деревни, из Буланова, оба утром приехали в город по своим делам и договорились вместе уехать. Тот, что пониже, работал кладовщиком в булановской РТС, другой – кузнецом в той же РТС. Кладовщика звали Павлом. Большого мужика – Федором.

– Я думаю, их совсем седня не будет, – сказал Павел. – Под Новый год ни один дурак никуда не поедет.

Федор промолчал. В чайной было тепло и пусто.

Павел прошел к стойке. Федор для приличия обмахнул рукавицей валенки и тоже прошел к стойке.

– Налей по сто пятьдесят, – сказал Павел.

– Все еще не уехали? – без всякого интереса спросила буфетчица. (Они уже разок приходили греться.)

– Не уехали. Новый год с тобой встречать будем. Согласная? – поинтересовался Павел.

Молодая толстая буфетчица налила два по сто пятьдесят, отрезала два куса хлеба и только после этого ответила:

– Много таких желающих найдется.

Павел сдвинул шапку на затылок, весело посмотрел на буфетчицу, сказал неопределенно:

– Да-а...

Выпили. Присели к столику, молча ели хлеб, макая его в солонку.

Вошел еще один посетитель, представительный мужчина в козлиной дохе, в новых негнувшихся валенках, в папахе. Сказал громко:

– С приближающимся! – У него, видно, было хорошее настроение.

Никто ему не ответил.

Мужчина подошел к стойке, расстегнул доху.

– Сто грамм, голубушка, и чего-нибудь... – вытянул шею, разглядывая полки. – Чего-нибудь на зубок.

Павел толкнул коленом Федора, показал глазами на представительного мужчину. Федор кивнул. Этого человека они знали. Жила в их деревне одинокая вдова Нюра Чалова, добрая, приветливая баба. И вот этот самый человек ездил к ней из города по праздникам и в выходные дни. В городе у него была семья, дети, двое, кажется. Нюра знала это, но почему-то отказать не могла – принимала. Все жалели Нюру, а этого гуся осуждали.

Мужчина выпил водку, смачно крякнул и подсел с бутербродом к столику.

– Тоже ехать?

– Мгм.

– Нету машин?

– Мгм, – односложно отвечал Павел, в упор разглядывая мужчину.

- А что делать?
– ???
– Черт... Мне надо срочно в Буланово добраться. Что же делать-то?
Павел, продолжая нескромно разглядывать ухажера, спросил:
– Что, живешь там?
– Да нет... – Мужчине стало жарко, он приспустил с плеч доху. Павел увидел у него во внутренних карманах две бутылки водки. – В гости еду.
– Понятно, – значительно сказал Павел.
– Как же добираться-то будем? – сокрушался мужчина. – А вам не в Буланово?
– Пешком, – решительно сказал Павел, отвлекаясь от ухажера. – Я думаю, надо идти, Федор. А то прокукуем тут... А?
Федор задумчиво жевал.
– Вы тоже в Буланово? – еще раз спросил мужчина.
Опять ему не ответили.
– Пойдем бором, часа через четыре дома будем. Дорогу я знаю.
– Сколько километров? – все пытался влезть в разговор мужчина. И опять на него не обратили внимания.
– Как, Федор?
– Пошли. – Федор поднялся.
– Так вы тоже в Буланово? Или куда?
– В Буланово, – сердито ответил Павел.
– Черт возьми совсем! – Мужчина потрогал в раздумье гладко выбритый, круглый, как пятка, подбородок. – Что же делать-то? Совсем не идут машины?
– Попробуй подожди, может, тебе повезет.
Павел с Федором пошли из чайной. Мужчина смотрел им вслед тоскливым взглядом.
– К Нюрке опять собрался, – сказал Павел, когда вышли на улицу. – Водка в карманах...
Гад.
Федор сплюнул на снег, надвинул поглубже шапку.
– Всыпать разок хорошенько – перестанет ходить, – сказал он. Помолчал и добавил:
– Нюрку только жалко.
– Она тоже хороша!.. Знает же, что у него семья, дети!..
– Та-а... чо ты ее осуждаешь? Ихное дело... слабые они. А он, видно, приласкал.
Отошли от чайной далеко уже, когда услышали сзади возглас:
– Э-э!
Их догонял ухажер.
– Ты глянь! – изумился Павел. – Идти хочет.
Федор ничего не сказал и не сбавил шага.
– Пошли!.. Иду с вами! – объявил ухажер таким тоном, точно он кого-то очень обрадовал этим своим решением.
Пошли втроем.
Окраина городка точно вымерла. Злой ветер загнал все живое под крыши, к камелькам. Под ногами путников громко взыкала мерзлая дорога.
– Я седня на заводе разговор слышал: в девятьсот восьмом году не метеор в тайгу упал, а люди какие-то к нам прилетали. С другой планеты, – заговорил Павел, обращаясь к Федору.
– Ерунда все это, – авторитетно заявил ухажер. – Фантазия.
– Что-то у них испортилось, и произошел взрыв – малость не долетели, – продолжал Павел, не обращая внимания на замечание ухажера. – Как считаешь, Федор?
– А я откуда знаю?

– По-моему, люди были, – сам с собой стал рассуждать Павел. – Что-нибудь не рассчитали... Могло горючего не хватить.

– Сказки, – уверенно сказал ухажер. – Народу лишь бы поболтать, выдумывают всякие теории.

Павел обернулся к нему:

– Есть поумнее нас с тобой. Понял?

Ухажер не понял.

– Ну и что?

– А то, что не надо зря вкать. «Сказки»...

Ухажер, глядя сверху на Павла, снисходительно усмехнулся:

– Верь, верь, мне-то что.

– Каждый из себя ученого корчит... – Павел сердито высморкался. – Расплодилось ученых: в собаку кинь – в ученого попадешь.

Ухажер опять усмехнулся и посмотрел на Федора. И ничего не сказал. Замолчали. Под ногами тонко пела дорога: взык-взык, взык-взык... Ветер маленько поослаб.

Вышли за город. Остановились закурить.

– Теперь так: этот лесок пройдем, спустимся в лог, пройдем логом – ферма Светлоозерская будет. От той фермы дорога повернет вправо, к реке... Там пасека попадется. А там километров шесть – и Буланово, – объяснил Павел.

Пошли.

– А ты чего в городе делаешь? – спросил вдруг Федор, оглянувшись на ухажера.

– Как?

– Где работаешь-то?

– А? По снабжению. – Ухажер расправил плечи, весело посмотрел вперед. Положительно у него были хороши дела. Он радовался предстоящей встрече.

– Воруешь? – поинтересовался Павел.

– Зачем? – Снабженец не обиделся. – Кто ворует, тот в тюрьме сидит. А я, как видишь, вольный человек.

– Значит, умеешь.

– А к кому в гости идешь? – опять спросил Федор.

Снабженец ответил не сразу и неохотно.

– Так... к знакомым.

– Сколько ты, интересно, получаешь в месяц? – Павла взволновал вопрос: ворует этот человек или нет?

– Девятьсот восемьдесят. По-старому, конечно.

– А семья какая?

– Четверо со мной.

– Жена работает?

– Нет.

– Давай считать, – зловеще сказал Павел. – Двое ребяток – обувь, одежда: пару сот уходит в месяц? Уходит. Жена... тоже небось принарядиться любит: клади две сотни, а то и три. Пятьсот? Себе одеться – двести. Семьсот?.. А то и все девятьсот: выпить тоже, как видно, не за ворот льешь. Так? На пропитанье клади пять-шесть сот – сколько выходит? А ты одет-то вон как – одна доха небось тыщи две с половиной...

– Две семьсот, – не без гордости поправил снабженец.

– Вот!

– Уметь надо жить, дорогой товарищ. А это последнее дело: увидел, что человек хорошо живет, – значит, ворует. Легче всего так рассуждать.

– А где же ты берешь-то?!

– Уметь надо, говорю. И без воровства умные люди крепко живут. Голову надо иметь на плечах.

Павел безнадежно махнул рукой. И замолчал.

Прошли лесок. Остановились еще закурить.

– Половинку прошли, – сказал довольный Павел и похлопал себя руками по бокам. – Счас там пельмешки заворачивают!.. Водочка в сенцах стоит, зараза. С морозца-то так оно это дело пойдет! Люблю празднички, грешная душа.

– А чего ты без жены в гости поехал? – спросил Федор, глядя на снабженца спокойно и презрительно.

Тот нехорошо прищурился, окинул громадного Федора оценивающим взглядом, сказал резко:

– А твое-то какое дело? – Он, видно, стал догадываться, куда клонит Федор. – Что тебе до моей жены?

Федор и Павел удивленно посмотрели на своего попутчика: как-то он очень уж просто и глупо разозлился. Павел качнул головой:

– Не глянется.

– Мне до твоей жены нету, конечно, дела, – вяло согласился Федор. – Интересно просто. Пошли дальше.

Прошли еще километра три-четыре, прошли лог, свернули вправо.

Стало быстро темнеть. И вместе с темнотой неожиданно потеплело. Небо заволоклось низкими тучами. Подозрительно тихо сделалось.

– Чувствуете, товарищи? – встревоженно сказал снабженец.

– Чувствуем! – насмешливо откликнулся Павел; они с Федором шли впереди.

Еще прошли немного.

Федор остановился, выплюнул на снег окурок, спокойно, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Счас дунет.

– Твою мать-то, – заругался снабженец и оглянулся кругом – было совсем темно. И все та же зловещая давила тишина.

– Успеем, – сказал Павел. – Поднажмем малость.

Федор двинулся вперед. За ним – Павел и снабженец.

– А если не успеем? – спросил снабженец. – А?

– Отстань, ну ты! – обозлился Павел. – Трухнул уже?

Пошел снег. Поначалу сыпал сухой и мелкий, потом повалил густо, хлопьями. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом.

Так продолжалось недолго. Стал дергать нехолодный ветер, и с каждым разом порывы его крепчали.

Через десять минут вверху загудело.

– Так, – сказал снабженец, останавливаясь. Но оба его спутника молча продолжали идти вперед. Снабженец догнал их.

Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный – в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль.

Дорогу перемело; ноги то и дело вязли в сугробе.

Павел раза три отбегал в сторону, пропадая во тьме. Появлялся и кричал бодро:

– Верно идем!

А идти становилось все труднее. Ветер ревел, бил людей холодными мокрыми ладонями, пытался свалить с ног. Вверху нечто безобразно огромное, сорвавшееся с цепей, бесновалось, рыдало, выло...

Снабженец путался в длинной дохе, падал. Один раз упал и потерял рукавицу.

– Э-э! – заорал он, ползая в снегу. – Подождите!

К нему подошел Федор. Долго вместе искали рукавицу. Нашли. Федор помог снабженцу подняться.

Павел топтался на снегу кругами – хотел понять: на дороге они или сбились.

– Где же пасака-то твоя?! – не скрывая раздражения, крикнул снабженец.

– Будет и пасака! Все будет... – ответил Павел. – Терпение! – Он надолго пропал в темноте.

Федор и снабженец стояли рядом, спинами к ветру.

– Трепач он, – сказал снабженец.

Федор повернул к нему голову.

– Я говорю, сбились он! – повторил снабженец.

Федор промолчал. Он знал это.

Неожиданно рядом появился Павел.

– Так, братики!.. – Он коротко и невесело хохотнул. – Маленько того... заблудились!

– Как? – спросил снабженец.

– Но я направление примерно знаю. Надо идти.

– Как заблудились?! – опять спросил снабженец.

– «Как! Как!» – озверел Павел. – Пасака должна быть, а ее нету, вот как! Заладил, блохастый!

– Ты что, смеешься, что ли?

– Пошли! – скомандовал Павел. – Главное, идти, не стоять. Я направление знаю: на ветер надо идти.

Федор послушно двинулся вперед – на ветер.

– Да куда идти?! Куда идти?! – перекрывая вой ветра, заорал снабженец. – Вы что, маленькие, что ли?!

Ему не ответили. Двое удалялись от него. Он догнал их, схватился за полушубок Федора, быстро заговорил:

– Надо счас в снег зарыться, переждать!.. Я слышал, так делают. Мы же пропадем иначе. Выбьемся из сил и пропадем! Он же не знает, куда идти!..

Федор, не оборачиваясь, крикнул:

– Ничо, шагай!

С полчаса медленно, с отчаянным злым упорством шли навстречу ветру, проваливаясь по колена в снег.

Ветер неистовствовал.

Павел остановился наконец, долго соображал, бессмысленно вглядываясь в ревущую тьму.

– Ну?! – крикнул Федор.

– Придется выходить на тракт. На деревню можем не попасть – ни черта не видно! Сворачиваем! – распорядился он.

– Сволочь! – громко сказал снабженец.

Это услышали; Павел повернулся и пошел было к нему, но Федор подтолкнул его вперед.

– Дерьмо собачье, – проворчал Павел.

Опять трое, перегнувшись пополам, медленно побрели по целику. Ветер теперь бил слева. Еще прошло какое-то время.

– Я больше не могу! – заявил снабженец. – Все!

Остановились.

– Как это не можешь? – спросил Павел.

– Не могу! Ясно?.. – Снабженец глотнул ветра, закашлялся. – Надо же... кха-кха-кха!..

Надо ж понимать, идиоты! Никуда нам не выйти! – Он сел на снег и согнулся в новом приступе кашля. – Я зарежусь в снег и пережду.

К нему подошел Павел. Склонился.

– Идти надо, чего ты слюни-то распустил! Куда зароешься, дура сырая?.. Замерзнешь тут, как кочерыжка, и все. Он на сутки зарядил, не меньше. Идти надо!

– Уйди от меня, трепач! – взвизгнул снабженец и заматерился.

Павел облапил его, стал поднимать.

– Пойде-ешь!.. Как Исусик, пойдешь у меня, ухажер сучий. Я те зарежусь...

Снабженец отчаянно упирался, хрипло, всхлипами дышал... Плюнул в лицо Павлу.

– Гад! Завел!..

Павел развернулся и навесил снабженцу в челюсть. Тот упал в снег. Федор, стоявший до этого в сторонке, подошел к ним, оттолкнул Павла. Взяв снабженца за грудки, поднял.

– Кому сказано: идти! А то, если я разок вмажу, от тебя одна доха останется. Шагай!

Снабженец покорно пошел.

– погоди, – сказал Федор. – Давай твою доху, а сам надевай мой полушубок – легче будет.

Снабженец молча снял доху, надел легкий, удобный в ходьбе полушубок.

Павел вышел вперед... И опять пошли.

Часа в четыре ночи Павел остановился, расстегнул полушубок, вытряхнул из-за пазухи снег, сказал без особой радости:

– Буланово – собак слышно. – Он устал смертельно.

Постучались в крайнюю избу.

Их спросили из-за двери, кто они, откуда... Павел назвал себя, Федора. Им сказали, что не знают таких. Павел заорал:

– Вы что, с ума там посходили?! Люди подышают, а они допрос учинили!

– Вышибай дверь, – робко и устало посоветовал снабженец.

Их впустили.

В избе выяснилось: это не Буланово, а зверосовхоз «Маяк». Павел аж присвистнул.

– Какого кругалья дали!

Снабженец осторожно отряхивался у порога. Федор снял доху, повесил на стену. Снабженец снял ее, вынес в сенцы и там долго отряхивал с нее снег.

– Водки теперь, конечно, не достать? – спросил Павел.

– Какая водка! – воскликнул хозяин, зевая и кутаясь в одеяло – в избе выстыло. Из-за его спины выглядывала недовольная заспанная жена. – Я б сейчас сам с удовольствием похмелился.

– Ну, нет так нет. На нет, говорят, и спроса нет, – грустно согласился Павел.

Снабженец долго устраивал доху на вешалку, потом присел на припечье.

– Давай спать, Федор, – сказал Павел. – Небось не простынем.

Они расстелили на полу полушубки, легли не раздеваясь. Хозяин дал им укрыться свой тулуп. Снабженец залез на печку. Погасили свет.

– Стрелили Новый год, – вздохнул Павел. – Язви ты в душу.

Буран колотил по крыше дома. В печной трубе тоскливо завывало. Во дворе, под окнами, скулила собака. Громко хлопали ворота – когда входили, забыли их закрыть.

– Ворота-то... черти вы такие, – сказал хозяин. – Расхлещет теперь.

Пришельцы промолчали – никому не хотелось идти закрывать ворота.

Минут десять лежали тихо.

– Слышь, на печке! – строго сказал Павел. – У тебя есть водка. В карманах, в дохе. Я видел вчера. Мы же отдадим тебе...

– Была, – откликнулся негромко снабженец. – Потерял я ее. Выронил.

Павел повернулся на бок и затих.

С печки послышалось ровное посапывание. Павел неслышно поднялся, подошел к дохе снабженца и стал шарить по карманам – искал водку. Водки действительно не было. В одном кармане он наткнулся на какой-то странный колючий предмет. Павел вытащил его, зажег спичку – то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буквами: «Нюсе, моей голубушке. От Мити».

– Положь на место, – сказал вдруг снабженец с печки.

Павел положил елочку в карман дохи, лег.

– К Нюрке опять пошел? – спросил он.

Скоро все заснули.

– Не твое дело.

– «Митя», – передразнил Павел. – Какой же ты Митя? Ты уж, слава те господи, целый Митька.

– Огурцов Укроп Помидорович, – зачем-то сказал Федор. И хмыкнул.

– До чего ушлый народ! – возмутился Павел. – Залезет вот такой гад в душу с разными словами – и все, и полный хозяин там...

– Пошли вы к черту! – громко сказал снабженец. – Чего вы злитесь-то, как собаки?

– Да хватит вам, – заворчал хозяин. – Нашли время разговаривать. Дайте доспать нормально.

Замолчали.

Хозяин через три минуты захрапел.

– А то злятся все, как собаки, – сказал снабженец с печки. – Не глянется, что лучше вас живу?

Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить.

– Закрой варежку, – сказал наконец Павел. – Ворюга.

– Ты меня поймал, чтоб так говорить? – повысил голос снабженец.

Чувствовалось, что он привстал.

– Я тебя по походке вижу.

– Нет, ты поймал меня?

– Сдался ты мне – ловить тебя. А от Нюрки тебя, поганца, отвадим, заранее говорю.

Придешь седня, мы там поговорим.

– Да какое ваше дело?! – почти закричал снабженец.

Проснулся хозяин.

– Ну, ребята, – сердито заговорил он, – пустил вас, как добрых, так вы теперь соснуть не даете. Чего вы орете-то? Что, дня не хватает для разговоров ваших дурацких?

Замолчали. Долго лежали так.

– Как собаки, накинута... – шепотом сказал снабженец.

– Гад, – тоже шепотом сказал Павел. – «Милой голубушке...» Голубчик нашелся. Я тя седня в деревне приголублю.

Федор хохотнул в рукав.

– Мужики, у вас совесть есть или нету? – совсем зло сказала хозяйка. – Вы что?!

– Все, спим, – серьезно сказал Павел. – Давай спать, Федор.

Скоро все заснули.

К утру буран улегся.

Павел с Федором проспали; снабженца в избе уже не было.

– Ушел, – сказал хозяин.

Выпили с хозяином две бутылки водки и пошли навеселе в Буланово.

Двенадцать километров отшагали незаметно.

В Буланове завернули еще в чайную, еще подкрепились... Совсем хорошо стало на душе.

– Пошли к Нюрке зайдём? – предложил Павел. – Поглядим на их...

– Пошли, – согласился Федор.

– Мне все же охота поговорить с им, – не терпелось Павлу. – Доху надел... Сука! А я полушубок не мог взять: по шестьдесят восемь рублей привозили, не мог занять ни у кого. А что я, хуже его работаю?! – Павел кричал и размахивал руками. – Что я, хуже его?!

Федор молчал.

Нюра ждала гостей... Только не этих. Сидела в прибранной избе – нарядная, хорошая. Стол был застелен камчатной скатертью; на нем стоял начищенный самовар – и все пока, больше ничего. В избе было празднично.

– А где он? – сразу спросил Павел.

– Кто?

– Этот гусь... В дохе-то?

Нюра покраснела.

– Никого здесь нету. Вы чего?

– Не пошел, – сказал Федор. – Он обратно в город уехал.

– А-а... струсил! – Павел был доволен. Стал рассказывать Нюре: – Шли ночью с твоим... ухажером. Елочку тебе нес, гад такой. И, главное, написал: «От голубчика Мити». Я говорю: если, говорю, я тебя еще раз увижу у Нюрки, ноги повыдергаю. Ты, говорю, недостойный ее! Ты же так ездишь – лишь бы время провести, а ей мужа надо. Да не такого мозгляка, а хорошего мужика! – Не замечал Павел, как меняется в лице Нюра, слушая его. – А ты гони его, если он еще придет! Гони метлой поганой! Митя мне, понимаешь...

Федор смотрел на Нюру. Молчал.

– Спасибо, Павел, – сказала Нюра.

– Ты мне скажи, когда он придет...

– Спасибо тебе. Позаботился. А то сидишь одна – и никому-то до тебя нету дела. А ты вот пришел... позаботился... – Нюра отвернулась к окну, кашлянула.

– А чего? – не понял Павел.

– Ничего. Спасибо... – Голос Нюры задрожал. Она вытерла уголком платка слезы.

– Пошли, – сказал Федор.

– А ты чего, Нюр? – все хотел понять Павел.

– Пошли, – опять сказал Федор. И подтолкнул Павла к двери. Вышли.

– А чего она?

– Зря, – сказал Федор. – Не надо было.

– Чего она, обиделась, что ли?

Федор не ответил.

– Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она – в слезы. Бабье!

– Трепесся много, – сказал Федор. – Как сорока на колу. У вас все в роду трепачи были. Балаболки.

– А ты-то чо? – Павел приостановился от неожиданности.

Федор как шагал, так продолжал шагать.

– Федор! – крикнул Павел. – Пошли, у меня пара бутылок дома есть. Пошли?

Федор свернул в свой переулок – не оглянулся. Павел постоял немного в раздумье. Плюнул в сердцах и тоже пошел домой.

– Пошли вы все!.. Им же, понимаешь, лучше делаешь, а они... строят из себя. Я же виноват, понимаешь. Народ!

Ваня, ты как здесь?!

У Проньки Лагутина в городе Н-ске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры, покупал им пару бутылок красного вина и учил:

– Вы, главное, тут... смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе: «Вы, мол, мне глянетесь, то-се, разрешите вас под ручку», – вы его по руке: «Не лезь! Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме».

В один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд уходил вечером.

Походил, поглазел, попил воды из автоматов... И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:

– Молодой человек, простите, пожалуйста. – Подошла красивая молодая женщина с портфелем. – Разрешите, я займу минутку вашего времени?

– Зачем? – спросил Пронька.

Женщина присела на скамейку.

– Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции...

– Кино фотографируете?

– Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого... вашего типа.

– А какой у меня тип?

– Ну... простой... Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.

– Так, понимаю.

– Вы где работаете?

– Я приезжий, к сестре приезжал...

– А когда уезжаете?

– Сегодня.

– Мм... тогда, к сожалению, ничего не выйдет. А у себя... в селе, да?..

– Но.

– У себя в селе где работаете?

– Трактористом.

– Нам нужно, чтоб вы по крайней мере неделю побыли здесь. Это нельзя?

– Трудно. Сейчас самое такое время.

– Понимаю. Жаль. Извините, пожалуйста. – Женщина пошла было, но вернулась. – А знаете, у вас есть минут двадцать времени?

– Есть.

– Я хочу показать вас режиссеру... для... как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем? Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.

– Пошли.

По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят...

– А этот тип зачем приезжает в город?

– Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.

– Интересно, – сказал Пронька. – Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебраться. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребята – повернуться негде будет. У вас всем хорошо платят?

Женщина засмеялась.

- Вы несколько рановато об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь?
- Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что...
- Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти...
- Вы же сказали, что я как раз тот самый тип!
- Это решает режиссер.

Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми умными глазами, очень приветливо встретил Проньку. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.

Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проньки.

– Добре, – молвил режиссер. – Если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем... поиграть немного.

Женщина вышла.

– Как вас зовут, я забыл?

– Прокопий. – Пронька встал.

– Сидите, сидите. Я тоже сяду. – Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Проньку. –

Тракторист?

– Ага.

– Любите кино?

– Ничего. Редко, правда, бывать приходится.

– Что так?

– Да ведь... летом, почёсть, все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем...

– Что это такое?

– На лесозаготовки. Женатые-то дома, на ремонте, а холостежь – вроде меня – на кубы.

– Так, так... Вот какое дело, Прокопий. Есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое... шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?

– Понятно.

– Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня – лишняя волокита, неудобства... и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба – дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?

– А как же так: сами жили – ничего, а как к ним приехали – не ндравится.

– Ну... бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. – Режиссер помолчал, глядя на Проньку. – Это непонятно?

– Понятно. Темнят.

– Темнят, да. Попробуем?... Слова на ходу придумаем. А?

– А как?

– Входите в дверь – перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше – посмотрим. Ведите себя как бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий, Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его – Иван. Давайте!

Пронька вышел из номера... и вошел снова.

– Здравствуйте.

– Надо постучаться, – поправил режиссер. – Еще раз.

Пронька вышел и постучал в дверь.

– Да!

Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.

– А где «здравствуйте»?

– Я же здоровался.

– Мы же снова начали.

– Снова, да?

Пронька вышел и постучался.

– Да!

– Здравствуйте!

– О, Иван! Входите, входите, – «обрадовался» режиссер. – Проходите же! Каким ветром?

Пронька заулыбался.

– Привет! – Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. – Как житуха?

– А чего ты радуешься? – спросил режиссер.

– Тебя увидел... Ты же тоже обрадовался.

– Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался? Дошло?

– А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.

Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Проньке.

– Пожалуй, – сказал он. – Давай еще раз. Я поторопился, верно.

Пронька опять вышел и постучался.

Все повторилось.

– Ну, как житуха? – спросил Пронька, улыбаясь.

– Да так себе... А ты что, по делам в город?

– Нет, совсем.

– Как совсем?

– Хочу артистом стать.

Режиссер захохотал.

Пронька выбился из игры.

– Опять снова?

– Нет, продолжай. Только – серьезно. Не артистом, а... ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?

– Ага.

– Ну и как?

– Что?

– А где жить будешь?

– У тебя. Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу.

Режиссер в раздумье походил по номеру.

– Что-то не выходит у нас... Сразу быка за рога взяли, так не годится, – сказал он. – Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду – тоже радуешься. Попробуем?

– Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу, его просто разнесут по бревнышку.

– Почему разнесут?

– От удивления. Меня же на руках вынесут!..

– М-да... Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.

Пронька вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.

– Ваня! Ты как здесь?! – воскликнул режиссер.

– А тебя как зовут?

– Ну, допустим... Николай Петрович.

– Давай снова, – скомандовал Пронька. – Говори: «Ваня, ты как здесь?!»

– Ваня, ты как здесь?!

– Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» – Пронька показал, как надо сделать. – Вот так.

Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.

– Хорошо. Ваня, ты как здесь?! – хлопнул руками.

Пронька сиял.

– Здорово, Петрович! Как житуха?

– Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя... Ну хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. Ваня, ты как здесь?!

– Хочу перебраться в город.

– Совсем?

– Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться...

– А жить где будешь? – сполз с «радостного» тона Николай Петрович.

– У тебя. – Проньку не покидала радость. – Телевизор будем вместе смотреть.

– Да, но у меня тесновато, Иван...

– Проживем! В тесноте – не в обиде.

– Но я же уже недоволен, Иван... то есть, Проня! – вышел из терпения режиссер. – Разве не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.

– Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общагу.

– Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?

– Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?..

– Ты родом откуда? – перебил режиссер.

– Из Колунды.

– А хотел бы действительно в городе остаться?

– Черт ее... – Пронька помолчал. – Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?

– Как тебе сказать... – Режиссеру не хотелось огорчать Проньку. – У нас другой парень написан. Вот есть сценарий... – Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся: – А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город...

– Да нет, если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать.

– Ну а если бы?

– Что?

– Приехал ты к знакомым...

– Ну, приехал... «Здрасте!» – «Здрасте!» – «Вот и я пожаловал». – «Зачем?» – «Хочу на фабрику устроиться...»

– Ну?

– Все.

– А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.

– А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель...

– Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно. Как тут быть?

– Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?»

– А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!» А сами недовольны, ты это прекрасно понимаешь. Как быть?

– Не знаю. А как там написано? – Пронька кивнул на сценарий.

– Да тут... иначе. Ну а притвориться бы ты смог? Ну-ка давай попробуем? Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только...

Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.

– Ну... ау... Да почему?! Я же говорил!.. Я показывал, какие! А, черт!.. Сейчас спущусь.

Иду. Проня, подожди пять минут. Там у нас путаница вышла...

– Не слушаются? – поинтересовался Пронька.

– Кого? Меня?

– Но.

Режиссер засмеялся.

– Да нет, ничего... Я скоро. – Режиссер вышел.

Пронька закурил.

Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:

– Ну, как у вас?

– Никак.

– Что?

– Не выходит. Там другой написан.

– Режиссер просил подождать?

– Ага.

– Значит, подождите. – Женщина порылась в стопке сценариев, взяла один... – Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка – ваш эпизод.

Она сунула Проньке сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса к Проньке больше не было. И вообще Проньке стало почему-то тоскливо. Представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь – занимать места в автобусах... А его не будет там, и он не заорет весело на бегу: «Давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь!» И не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни. Не пахнет кизячным дымом... Не встретит мать на пороге привычным: «Приехал. Как она там?» И не ответит он, как привык отвечать: «Все в порядке». – «Ну, слава богу».

Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:

«Не выйдет у нас.

Лагутин Прокопий».

И ушел.

Заревой дождь

Был конец апреля. С карнизов домов срывались крупные капли, теплый ветер сдувал их, они мягко шлепались в стекла окон и медленно сползали.

Ефим Бедарев лежал в районной больнице, в маленькой палате, на плоской койке. Он почернел от болезни. Устал.

Часто заходил врач, молодой парень.

– Ну, как дела?

– Как сажа бела, – с трудом отвечал Ефим; в темных глазах его на миг вспыхивала странная веселость. – Подвожу баланс.

– Бросьте вы!..

– Я шутейно, – успокаивал Ефим. Ему нравился доктор: он был до смешного молодой и застенчивый – этот доктор.

– Лекарство пили?

– А как же! Лучше стало – чую.

Доктор пытливо смотрел на больного. Тот спокойно выдерживал его взгляд.

– Не веришь? Хэх, доктор!.. До чего же ты молодой еще. Прямо завидки берут.

Доктор краснел.

– Как это не верю! Зачем вы так?..

Ефим легонько хлопал его по руке.

– Все в порядке, сынок: я понимаю. Я не жалеюсь... Мне бы только дочь...

– Ей послали телеграмму.

– Вот хорошо! – Ефим хотел увидеть единственную дочь Нину. – Это хорошо.

В полдень, когда в палате никого не было, в открытое окно, с улицы, заглянул человек в белом полушубке. Оглядел палату, снял с огромной головы мерлушковую шапку и лег грудью на подоконник. В палате запахло талой землей и овчиной.

– Здорово, Ефим.

Больной повернул голову и от удивления округлил глаза. Пошевелился – хотел подняться, но человек в полушубке замахал рукой:

– Лежи!

Ефим внимательно смотрел на пришельца.

– Зашел попроведать, – заговорил тот, глядя раскосыми глазами не то на больного, не то мимо. – Как делишки, Ефим?

Ефим усмехнулся.

– Хорошо.

Большеголовый понимающе кивнул. Вылез из окна, высморкался на землю и снова влез и лег на подоконник.

Некоторое время смотрели друг на друга.

– Значит, как я понимаю, плохо дело, – сказал большеголовый и опять понимающе кивнул.

– Ты для чего приполз сюда? – спросил Ефим.

– А приехал в гости к зятю, – охотно заговорил большеголовый, – ну, узнал, что ты, значит, прихворнул. Ага. Ну, сидел на крылечке, и так меня разморило. Вот, думаю, весна, хорошо, солнышко светит. Да-а... А помирать все одно надо. – Он полез в карман полушубка за кисетом. – И опять же так подумал: вот живем мы, живем – вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она – раз! – тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня? – Боль-

шеголовый посмотрел прямо на Ефима. – Взять хоть тебя, Ефим... – Он долго слюнявил край газетной самокрутки.

– Ну?

– Ну, жил, думаю, человек... активничал там, раскулачивал... э-э... и все такое. – Большоголовый прикурил, заботливо отмахнул от окна белое облачко дыма. – Крест с церкви тогда своротил. Помнишь?

– Помню, как же.

– Во-от. Я к чему это: там есть бог или нету – это ладно. Не про то счас. Я хочу узнать: как вообще-то?

– Что?

– Мучаешься?

– Хочешь знать: мучает меня совесть, что я вас раскулачивал? Это, што ли?

– Ага, вот это самое.

– Нет, Кирилл, не мучает. Нисколько. А бога ты зря приплел. Ты ж сам не веришь. Хоть бы сейчас-то не вилял душой.

Кирилл усмехнулся.

– Богу не верю – это правда. Ему, как я понимаю, никто не верит, притворяются только.

– Молодец. Хоть на старости лет за ум взялся.

– Не радуйся шибко-то. – Большоголовый назидательно посерьезнел. – Я тебя не пужаю, Ефим, но хочу сказать: кто в жизни обижал людей, тот легко не умирает.

– Ой, как я испугался, прямо трясусь весь. Дурак ты, Кирька, и всегда дураком был. Хэх, блаженненький явился...

– Это ты передо мной веселишься, – продолжал Кирька. – А самому страшно.

– А я не помру. Откуда ты взял, что я помираю?

– Ничего, ничего, – значительно сказал Кирька и затыкнулся трескучим самосадам.

Вошел доктор.

– Это еще что такое? – нахмурился он, увидев Кирьку.

– Это... сосед мой, – сказал Ефим. – Пусть постоит.

– Бросьте курить-то! И лучше бы уйти...

– Нет, – запротестовал Ефим, – пусть побудет.

Кирька сполз с подоконника, старательно затоптал окурок.

Врач заставил Ефима выпить лекарство, посидел немного рядом с ним и ушел.

Кирька снова лег на подоконник.

– Хороший уход здесь, – сказал он.

– «Хороший уход здесь», – передразнил его Ефим, неожиданно почему-то рассердившись. – Оглоеды.

– Не шуми. Это тебе не сельсовет, а больница.

Помолчали.

– Гляжу я на тебя, Ефим, – заговорил вдруг Кирька задумчиво и негромко, – и не могу понять: ведь сколько ты мне вреда сделал! Хозяйство отобрал, по тайге гонял, как зверя какого, сослал вон куда – к черту на кулички... Так? А зла у меня на тебя нету большого. Не то что совсем нету: подвернись тогда в тайге, я ба, конечно, хлопнул. Но такого, чтоб света белого не видеть, такого нету. Один раз, помню, караулил у твоей избы чуть не до рассвета. Сидел ты с бумажками прямо наспротив окна. Раз десять прицеливался и не мог. Не поверишь, наверно? В тайге мог ба, а дома нет. Сижу, ругаю себя последними словами, а стрелкнуть не могу.

Ефим скатил по подушке голову в сторону Кирьки, с любопытством слушал.

– Ты какой-то все-таки ненормальный был, Ефим. Не сердчай – не по злобе говорю. Я не лаяться пришел. Мне понять охота: почему ты таким винтом жил – каждой бочке затычка? Ну, прятал я хлеб, допустим. А почему у тебя-то душа болела? Он ведь мой, хлеб-то.

– Дурак, – сказал Ефим.

– Опять – дурак! – обозлился Кирька. – Ты пойми – я ж сурьезно с тобой разговариваю. Чего нам с тобой теперь делить-то? Насобачились на свой век, хватит.

– Чего тебе понять охота?

– Охота понять: чего ты добивался в жизни? – терпеливо пытал Кирька. – Каждый человек чего-то добивается в жизни. Я, к примеру, богатым хотел быть. А ты?

– Чтоб дураков было меньше. Вот чего я добивался.

– Тьфу!.. – Кирька полез за кисетом. – Я ему одно, он – другое.

– Богатым он хотел быть!.. За счет кого? Дурак, дурак, а хитрый.

– Сам ты дурак. Трепач. Новая жись!.. Сам не жил как следует и другим не давал. Ошибся ты в жизни, Ефим.

Ефим закашлялся. Высохшее тело его долго содрогалось и корчилось от удушающих приступов. Он смотрел на Кирьку опаляющим взглядом, пытался что-то сказать.

Вошел доктор и бросился к больному.

Кирька слез с окна и пошел из ограды.

К вечеру, когда больничные окна неярко пламенели в лучах уходящего солнца, Ефиму Бедареву стало хуже.

Он лежал на спине, закинув руки назад. Время от времени тихо стонал, сжимал непослушными пальцами тонкие прутья кровати, напрягался – хотел встать. Но болезнь не выпускала его из своих цепких объятий, жгла губительным огнем: жаром дышала в лицо, жарко, мучительно жарко было под одеялом, в жарком тумане качались стены и потолок...

Над Ефимом стояли врач и дочь Нина, женщина лет тридцати, только что приехавшая из города.

– Что сейчас?.. Ночь? – спрашивал Ефим, очнувшись.

– Вечер, солнце заходит.

– Закурить бы...

– Нельзя, что вы!

– Ну, пару раз курнуть, я думаю, можно?

– Да нельзя, нельзя! Как же можно, папа?!

Ефим обиженно умолкал... И снова терял сознание, и снова хотел встать – упорно и безнадежно. Один раз в беспамятстве ему удалось сесть в кровати. Дочь и доктор хотели уложить его обратно, но он уперся рукой в подушку, а другой торопливо рвал ворот рубашки и тихонько, горячо, со свистом в горле шептал:

– Да к чему же?.. К чему?.. Я же знаю! Я все знаю!.. – В сухих воспаленных глазах его мерцал беспокойный трепетный свет горькой какой-то мысли.

Кое-как уложили его... Дочь припала к отцу на грудь, затряслась в рыданиях.

– Папа! Папочка мой хороший!.. Папа!..

Доктор увел женщину из палаты и остался с больным один.

Ефим притих.

Врач сидел на кровати, смотрел на него.

– Кирька! – позвал Ефим, не открывая глаз.

– Чего? – откликнулся чей-то голос.

Врач вздрогнул и обернулся – у окна стоял Кирька и глядел на Ефима. Он давно уж наблюдал за непосильной борьбой человека со смертью.

– Вы что тут?

– Смотрю...

– Это кто? Кирька? – спросил Ефим.

– Я.

– Пришел?

– Ага.

– Ничего, Кирька... – Ефим жадно дышал. – Я потом с тобой потолкую... Конечно, жалко малость...

– Ничего. Лежи, Ефим.

Врач ничего не понял из этого странного разговора. Он решил, что Ефим опять бредит, и сделал знак Кирьке, чтобы тот ушел: больной волновался.

Кирькина голова исчезла.

Ночь кончалась. Заревая сторона неба нахмурилась тучами. Повеяло затхлым теплом болотистых низин – собирался дождь.

Где-то прогудела машина; несколько кобелей-цепняков простуженно забухали в рассветную тишину.

Над Ефимом склонились врач и дочь.

– Всё? – спросил Ефим одними губами.

У женщины запрыгал подбородок. Врач воскликнул:

– Что это вы, Ефим Назарыч! Глупости какие...

– Открой окно.

– Оно открыто.

– Тяжко... Нина, дочка... ребятёшек... м-м... – Ефим повел потускневший взгляд в сторону, потянулся под одеялом... Лицо покрылось мучнистой бледностью. Он закашлялся... Из рта на подушку протянулся тонкий ручеек сукровицы. Последним усилием рванулся он с койки... сел. Доктор и дочь подхватили его.

В горле у Ефима кипело. Он хотел что-то сказать, но только мычал. Он плохо держал голову... пачкал белый халат дочери теплой кровью и мычал – хотел что-то сказать.

– Что, Ефим, плохо? – с искренней участливостью спросил вдруг посторонний голос – это Кирька опять стоял у окна. Ему никто не ответил. Его даже, наверно, не услышали.

Ефим сразу отяжелел в руках дочери, обвис... Его бережно положили на койку. Стало тихо.

Женщина окаменела у койки. Смотрела на отца большими глазами. В стекла окон сыпались первые крупные капли дождя; деревья в больничном саду встрепнулись, закачали ветвями, зашумели.

Порывом ветра в окно палаты закинуло клочок бумаги; он упал к ногам женщины, тихо шаркнув по полу. Она вздрогнула, опустила перед отцом на колени...

Кирька медленно пошел прочь от больницы. Шапку забыл надеть – нес в руках.

Теплый обильный дождь полоскал голову, стекал по лицу, по шее, за ворот, барабанил по полушубку. Это был желанный дождь – первый в этом году.

Шел Кирька и грустно смотрел в землю. Жалко было Ефима Бедарева. Сейчас он даже не хотел понять: почему жалко? Грустно было и жалко, и все.

Дождь шумел, отплясывал на дороге тысячью длинных сверкающих ножек. Кипело, булькало в канавках и в лужицах... Хлюпало.

Операция Ефима Пьяных

Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену.

– Чего? – недовольно откликнулась та.

– Это... осколок, однако, начал выходить. Вот он – колется, змей. С вечера чуял...

– Где?

– Ну, где?... Куда ранило-то, не знаешь, что ли?

– Там? – изумилась Соня.

– Но.

– Чо же ты, двадцать лет сидел на ем и не чуял? Как так?

– Так и не чуял! Как... Да большой! – Ефим горько прицокнул языком. – Замучает, паразит.

Соня засмеялась.

– Как теперь сидеть-то будешь? Боком, что ли?

– Смешно! Тебе бы сейчас... не веселилась бы.

Помолчали.

– Что делать теперь, ума не приложу.

Соня не выдержала и опять засмеялась, уткнувшись лицом в подушку.

– Смешинка в рот попала? – сердито спросил Ефим. – Как дура...

– Не сердись, Ефим. Шибко на интересном месте он у тебя... – Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки. – А чего уж так испугался-то? Не рожать ведь. Ну, выйдет. Они сами, что ли, выходят?

– Пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезают их. Было у ребят в госпитале...

– Ну и вырежи.

Ефим промолчал на это. Он и сам подумал: «Придется вырезать». Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача-мужчины. Мало того, хирург – совсем молодая женщина. Двадцать лет назад, в госпитале, он, не раздумывая, улегся бы спиной кверху перед кем угодно – тогда не совестно было. А сейчас при одной мысли коробит.

– Посмотрим, – сказал он. – Спи.

А сам долго еще думал, как теперь быть.

Весь следующий день он старался быть на ногах – не сиделось. Больно. В кабинете (он был председателем колхоза), принимая народ, ходил около стола, нервничал... Материл про себя «того урода», который всыпал ему под Курском горсть железных конфет ниже пояса. Рана, в общем-то, некрасивая. В госпитале долго ржали. Но тогда – что! А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется штаны снимать перед молодыми бабенками. А те, конечно, начнут подмигивать друг другу... Еще какая-нибудь скажет: «Вот, Ефим Степаныч, теперь снова можете в президиуме заседать».

Домой пришел рано. Мрачный. Сообщил:

– Назревает.

– Да иди ты в больницу, господи! – воскликнула Соня. – Чего ты носишься с ним, как... не знаю кто.

– В больницу!.. – Ефим закурил и стал ходить по комнате. – У нас не больница, а монастырь какой-то! Откуда их понагнало, черт их знает, – одно бабье!

– Чего они тебе?

– Ничего! Чего... Зарабатывал, зарабатывал авторитет, да пойду теперь растелешусь перед кем попало... Одним махом все перечеркнуть.

– Тыфу! – Соня даже рассердилась на такую глупость. – Да что же ты, ей, что ль, авторитет-то зарабатывал?! Какая же она у тебя такая, что ее и показывать нельзя?

– Никакая. Не вякай, раз не понимаешь. Сразу вся деревня узнает, начнут потом языки чесать, черти. Не знаю я их! Им после – одно, а у них на уме – другое. Зубоскалы, черти. – Ефим злился, понимал, что это глупо, а злился. Он действительно не знал, что делать. В город ехать – чуть не сто верст. А приедешь, скажут, у вас своя больница есть. Не примут. Да и как ехать, стоя, что ли?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.